

СМЕНА¹

ЯНВАРЬ '87

Габриэль Гарсиа Маркес. Голос в защиту жизни

Фонд комсомольской инициативы

Валентин Катаев. Последняя беседа

Рассказ Марии Корякиной

Диксон. Точка на карте Отечества

Белла Ахмадулина. Новые стихи

Любовь в наши дни. Разговор с читателем

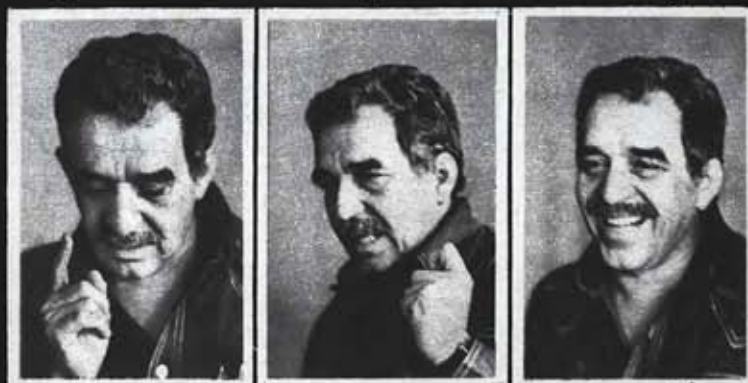
Повесть братьев Вайнеров «Завещание Колумба»

Близнецы и завод. Фотоочерк

Новое: музыка, мода, автомобиль



Габриэль Гарсиа Маркес



Пусть обратятся в реальность

МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ

Любое серьезное решение, принимаемое в эти истекающие годы столетия, — это решение, которое уже распространяется на двадцать первый век. Но мы, латиноамериканцы и жители карибских стран, движемся к нему с опустошающим ощущением того, что упустили век двадцатый. Мы в нем страдали, но не жили. Полмира встретят рассвет 2001 года как пик предшествующего тысячелетнего развития, мы же только начнем догадываться о тех благах, которые дает промышленная революция. Дети, которые сегодня ходят в школу и которым предстоит решать наши судьбы в будущем столетии, по-прежнему считают на пальцах, как считали в самой далекой древности, хотя существуют компьютеры, способные производить сотни тысяч математических операций в секунду. Латиноамериканские и карибские страны — будто рабы нынешнего времени: земные невзгоды, политические и социальные проблемы, неотложные каждодневные нужды, зависимость от бедности и несправедливости не оставили нам времени, чтобы мало-мальски усвоить уроки прошлого или поразмыслить о будущем.

Мне кажется, что народы Латинской Америки — это

своего рода средние классы человечества: не пролетариат и не крестьянство и уж, конечно, не аристократия и не буржуазия. Они средние классы, со всеми их достоинствами и недостатками. И, мне думается, они все еще привязаны к девятнадцатому веку, они еще не добрались до века двадцатого и тем более до двадцать первого. Мы, повторяю, так и не получили ничего от великих привилегий двадцатого века, наоборот, мы утратили трепетный идеализм и благоговение перед любовью... В какой-то мере в моем последнем романе «Любовь во время чумы» поднимаются все эти вопросы, я говорю: вопросы, а не утверждения.

К счастью, у латиноамериканских и карибских стран есть огромный запас энергии, способной повернуть мир: грозная память наших народов... В нашей отсталости сокрыта и наша сила — в энергии новизны и красоты, которая безраздельно принадлежит нам и благодаря которой мы такие, какие есть. Эту энергию не укротить ни империалистической ненасытностью, ни жестокостью доморощенных тиранов, ни нашей собственной незапамятной робостью перед воплощением в слова сокровенных мечтаний. Даже сама революция есть не что иное, как концентрированное

выражение нашего созидательного потенциала, что требует от нас глубокой веры в будущее.

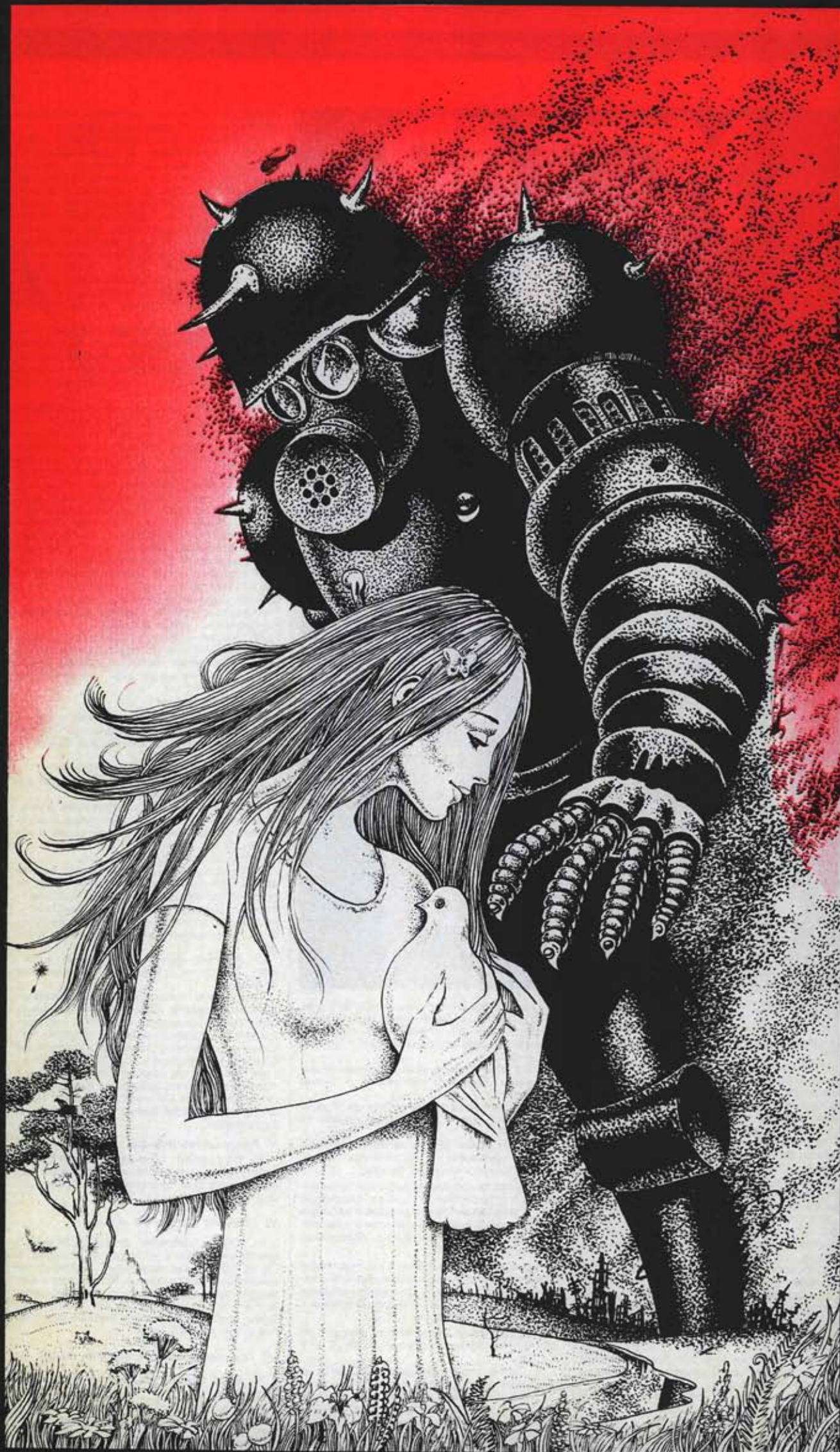
Я верю, что будущее — за социализмом, верю, что мир станет социалистическим, и чем скорее это будет, тем лучше. Латинская Америка нуждается в радикальных переменах, мы все это знаем. И еще я думаю и так думал всегда, что социализм — это некая магическая формула. Мы для Латинской Америки должны придумать свои формы, которые бы соответствовали нашей культуре, нашей исторической традиции. Многие можно увидеть уже и на Кубе, западный мир поначалу очень критически высмеивал кубинский «социализм с пачангой», но если взглянуть на это серьезно, то можно увидеть много интересного: например, социализм на Кубе нельзя себе представить без карнавалов и без других специфических кубинских сторон жизни. Другими словами, я за социализм, который стимулирует свойственные данной стране формы и стороны жизни. И в Латинской Америке в этом направлении предстоит огромная работа. Я думаю, что у нас для этого достаточно воображения и творческого потенциала. И думаю, что именно этим объясняется тот огромный страх, который испытывают Соединенные Штаты перед

Никарагуа. Они говорят, что не хотят новой Кубы. А никарагуанцы хотят новой Никарагуа. И США боятся этой новой Никарагуа, потому что она может стать опасным примером и угрозой для интересов США в Латинской Америке. Но я верю в то, что худшего не случится, потому что даже в США есть силы, которые способны благоприятствовать этим переменам... Великая социалистическая революция может произойти и в США, потому что у них решены уже многие проблемы и внутри самого общества созрела соответствующая инфраструктура, и может наступить момент, когда все это воплотится в то, что было мечтой...

Я не знаю, где кончается реальность и где начинается мечта, и понимаю, что это звучит необычно, но нельзя ждать от писателя, чтобы он был ортодоксом...

Я, повторяю, убежден, что рано или поздно мир обязательно придет к социализму. Однако у меня имеется особое мнение по поводу того явления, которое мы называем «ангажированной» литературой.

Это понятие подразумевает социальный роман, представляющий собой высшее достижение такого рода литературы. Мне кажется, что ограниченное видение мира и жизни, предлагаемое ею, не



принесло никаких, говоря на политическом языке, осязаемых результатов. Эта литература не способствует процессу осмысления жизни, а скорее замедляет его. Latinoамериканские читатели ждут от романа большего, чем простого разоблачения угнетения и несправедливостей, о которых они и так знают немало.

Я думаю, что роман о любви имеет такое же право на существование, как и любой другой роман. Долг писателя, если угодно, его революционный долг, состоит в том, чтобы писать хорошо.

Я с интересом наблюдаю за всем, что происходит в Советском Союзе, где у меня много друзей, очень много. А теперь, когда в СССР все пришло в движение: в экономике, в органах власти и управления страной, — это привлекает самое пристальное внимание, и я думаю, что это на пользу, безусловно, на пользу...

Я внимательно следил за встречей Горбачева и Рейгана, разумеется, по самым распространенным у нас источникам информации. Сам факт встречи вселил в меня оптимизм, и мне бы хотелось, чтобы этот оптимизм имел под собой реальные основания. Я верю, что люди не должны дойти до такого безумия, чтобы развязать войну, и в то же время меня не оставляет страх, что они могут оказаться настолько безумными. В этом проблема, и потому нельзя ни на минуту расслабляться и терять бдительность. Напряжение достигло такого предела, что из-за ошибки, простой ошибки, может случиться непоправимое — разразится катастрофа. И в таких условиях чрезвычайно важна информация, необходимо, чтобы все знали, что происходит в других странах, чтобы мировое общественное мнение было информировано обо всем, правильно информировано. Тогда меньше вероятности, что худшее может случиться, потому что когда мировое общественное мнение хорошо информировано, то становится ясным, какова ответственность каждого.

Сопина

I. Общие положения. Цели и задачи

1. Новосибирский городской фонд молодежной инициативы, в дальнейшем именуемый фонд, является добровольным объединением, имеющим своей целью активное содействие развитию инициативы молодых граждан города, молодежных и детских клубов по интересам, реализации общественно значимых идей и предложений по организации свободного времени молодежи.

2. основополагающими принципами деятельности фонда являются: добровольность членства, общественное самоуправление, строгое соблюдение социалистической законности.

3. Фонд осуществляет свою деятельность на основе настоящего устава и ставит своей задачей:

а) содействие развитию молодежных и детских клубов, научно-технических, эстетических и спортивных объединений по интересам в коллективах предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений и по месту жительства;

б) координацию деятельности существующих и вновь образуемых клубов по интересам, не входящих в структуру государственных и профсоюзных учреждений, изучение и распространение опыта их работы;

в) проведение совместно с заинтересованными организациями социальных экспериментов по созданию перспективных форм организации досуга молодежи, особенно подростков, оказание предприятиям, организациям, учебным заведениям, не имеющим клубных учреждений, помощи в организации досуга молодежи на основе расширения ее интересов и потребностей: от развлечения к активной социально значимой деятельности.

4. Фонд имеет право в сфере своей деятельности объявлять, организовывать и проводить выставки и конкурсы работ клубов по интересам, являющихся коллективными членами фонда.

II. Члены фонда, их права и обязанности

5. Членами фонда могут быть:

а) граждане СССР, проживающие в г. Новосибирске, достигшие 16-летнего возраста, признающие устав фонда, инициативно участвующие в организации свободного времени молодежи;

б) клубы по интересам, группы или другие организации молодежи, объединенные по интересам ее членов, коллектив, который признает устав фонда и выполняет его решения.

6. Члены фонда имеют право:

а) принимать участие в работе общего собрания фонда с правом решающего голоса;

б) вносить на рассмотрение совета фонда различные предложения и инициативы молодежи, ходатайствовать о финансировании молодежных программ и оказании помощи в текущей деятельности;

в) распоряжаться в пределах выделенной фондом суммы и в соответствии с ее назначением денежными средствами, вести необходимый учет и отчетность по своим делам;

г) ходатайствовать о поощрении активистов клубов по интересам, а также лиц, внесших большой вклад в развитие творческой инициативы молодежи, организацию свободного времени;

7. Члены фонда обязаны:

а) руководствоваться в своей деятельности уставом фонда, решениями его руководящих органов, ежегодно отчитываться перед ними о работе;

б) повышать творческую и деловую квалификацию в избранной сфере деятельности;

в) руководствоваться в своей деятельности решениями партийных, советских, комсомольских органов;

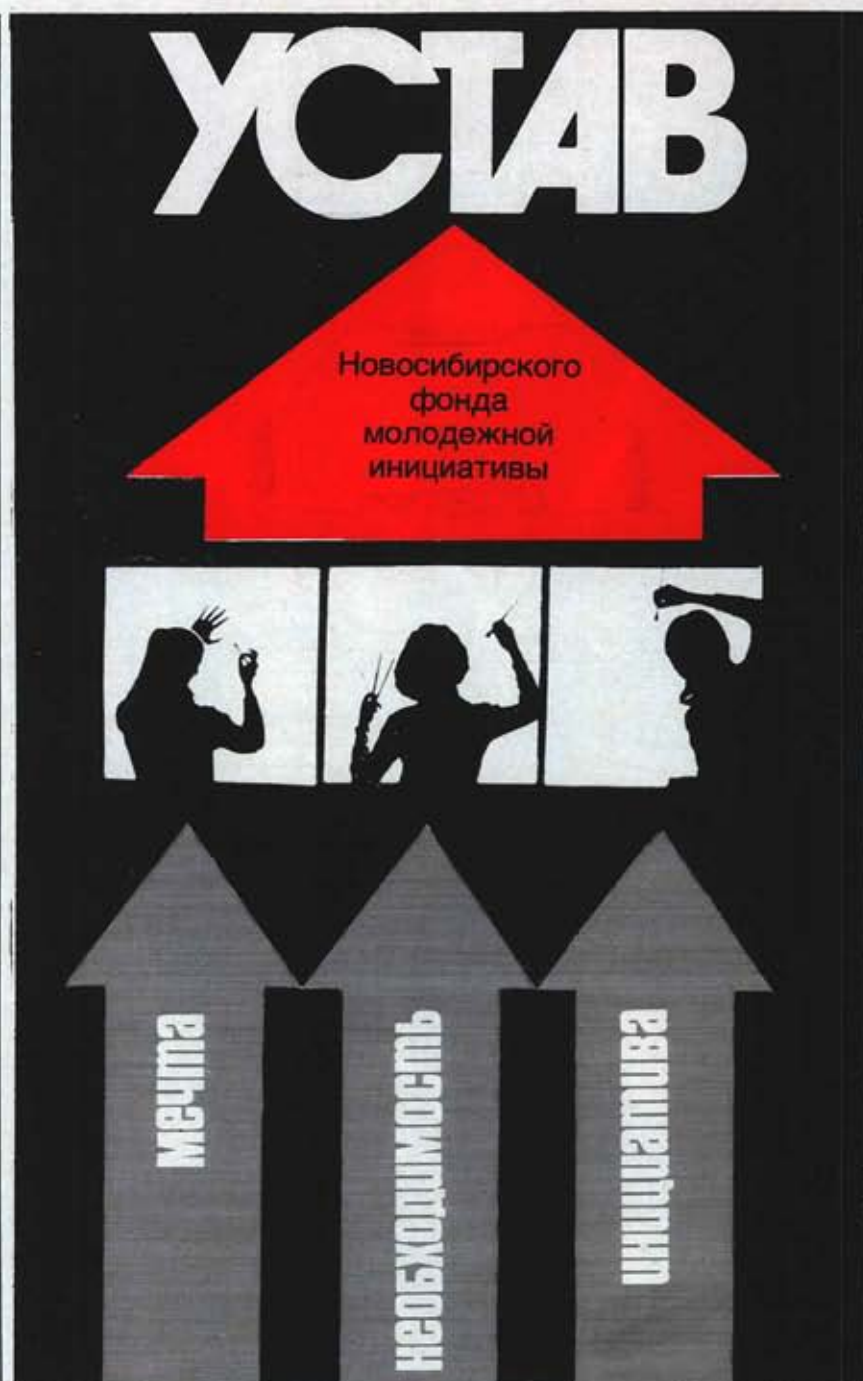
г) быть активными проводниками идеалов коммунистической нравственности, бороться с любыми попытками внести в молодежную среду представления, нуждые социалистическому образу жизни, не допускать использования деятельности клуба, объединения в чьи-либо корыстные и личные интересы, соблюдать социалистическую законность.

8. Перерегистрация членов фонда проводится в январе — феврале каждого года, порядок перерегистрации устанавливается общим собранием фонда.

Члены фонда имеют право свободного выхода из фонда. Заявление о выходе рассматривается советом фонда в 10-дневный срок.

9. За нарушение устава фонда, этики деловых и личных взаимоотношений к членам фонда могут быть применены меры общественного воздействия, вплоть до исключения из фонда.

Решение об исключении из фонда принимается общим собранием фонда и может быть обжаловано в бюро ГК ВЛКСМ.



III. Порядок управления деятельностью фонда

10. Органами управления деятельностью фонда являются общее собрание, совет фонда.

11. Высшим органом управления является общее собрание. Очередные общие собрания созываются не реже двух раз в год и по мере необходимости. О созыве очередного общего собрания совет объявляет не позднее 10 дней до его открытия.

Общее собрание является правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей членов фонда.

12. Общее собрание:

а) определяет основные программные направления деятельности фонда;

б) обсуждает и утверждает отчеты совета, в том числе и по направлениям деятельности, рассматривает и утверждает годовой отчет и баланс, годовую смету;

в) избирает совет фонда в количестве 15 человек;

г) избирает председателя и заместителей председателя совета фонда из числа членов фонда и членов горкома ВЛКСМ;

д) заслушивает отчеты членов фонда об их работе;

е) принимает решения о внесении изменений в устав фонда, устанавливает порядок приема членов фонда.

13. Руководящим и исполнительным органом фонда в период между общими собраниями является совет, который:

а) руководит деятельностью фонда в период между общими собраниями и осуществляет контроль за соблюдением устава и исполнением решений общего собрания;

б) предварительно рассматривает вопросы, выносимые на обсуждение общего собрания фонда, утверждает планы работ и порядок реализации идей и предложений, поступивших в фонд;

в) в соответствии с установленным общим собранием порядком принимает в члены фонда;

г) поощряет за активную работу как отдельных членов, так и коллективы клубов по интересам;

д) имеет право в установленном законом порядке заказывать и изготавливать печать, штампы фонда, членские билеты;

е) осуществляет финансовую деятельность фонда в установленном порядке, рассматривает и утверждает сметы доходов и расходов по оказанию финансовой помощи в реализации предложений и инициатив, одобренных советом фонда;

ж) рекомендует к изданию в установленном порядке подготовленные редакционным советом буклеты, проспекты, листовки, приглашения, билеты, плакаты, информационные и методические материалы и т.д.;

з) координирует деятельность фонда с отделом культуры горисполкома, ГК ФКиС и ГК ВЛКСМ.

14. Состав совета фонда утверждается на заседании бюро горкома ВЛКСМ.

15. В состав совета фонда входят председатель, два его заместителя, ответственный секретарь, бухгалтер и члены совета. Распределение обязанностей членов совета фонда проводится на его заседании.

16. В соответствии с установленным порядком обязанности председателя, его замести-

телей, ответственного секретаря, бухгалтера распределяются следующим образом:

председатель несет ответственность, в том числе и материальную, за правильность расходования денежных средств перед советом и общим собранием фонда, распоряжается денежными средствами по решению совета фонда, осуществляет общее руководство, организует подготовку и созыв очередных общих собраний и заседаний совета, дает поручения членам совета и фонда по вопросам, связанным с выполнением программы деятельности фонда и в соответствии с уставом фонда, представляет фонд в заинтересованных организациях, совместно с ответственным секретарем составляет годовую и квартальную отчетность;

1-й заместитель председателя осуществляет функции председателя в его отсутствие, готовит и проводит общие собрания, заседания совета, направляет деятельность членов совета, работающих по отдельным направлениям;

заместитель председателя осуществляет функции председателя и его 1-го заместителя в их отсутствие, готовит вопросы на заседания совета, направляет деятельность членов совета, работающих по изучению, анализу поступающих в фонд инициатив, их реализации, составляет совместно сметы доходов и расходов. Члены совета оказывают председателю помощь в проведении работы в соответствии с уставом фонда, обеспечивают выполнение решений руководящих органов фонда;

ответственный секретарь ведет учет членов фонда по установленной форме, организует заседания совета фонда, общего собрания. Бухгалтер действует в соответствии с действующим положением и инструкцией о порядке поступления, хранения и расходования денежных средств фонда.

17. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания являются правомочными при наличии не менее двух третей членов совета.

IV. Средства фонда

18. Фонд является юридическим лицом и имеет самостоятельный баланс, круглую печать и штамп со своим наименованием и эмблемой.

19. Средства фонда образуются из:

а) добровольных взносов граждан, в том числе целевых взносов;

б) поступлений от проведения Дней комсомольской инициативы и субботников, проводимых членами фонда, комсомольцами и молодежью;

в) прочих поступлений.

20. Фонд осуществляет принадлежащие ему правомочия владения, пользования и распоряжения денежными средствами в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом на основании инструкции, утвержденной общим собранием фонда.

21. Ревизию деятельности фонда проводит городская ревизионная комиссия ВЛКСМ.

22. Решения о выделении и расходовании денежных средств, о списании материальных ценностей принимаются советом с последующим утверждением на общем собрании. Решения о заключении договоров и соглашений об аренде помещений и приобретении имущества принимаются советом. Данные решения подписываются председателем совета фонда (в его отсутствие 1-м заместителем или заместителем председателя) и главным (старшим) бухгалтером.

V. Руководство фондом

23. Направляет, организует, контролирует работу фонда, осуществляет непосредственное руководство деятельностью фонда горком ВЛКСМ.

VI. Порядок изменения устава

24. Общее собрание фонда правомочно внести изменения в устав по согласованию с ГК ВЛКСМ с последующим утверждением изменений горисполкомом. Решения об изменении устава принимаются, если за них проголосует более двух третей его участников. Право внесения вопроса об изменении устава предоставляется совету.

VII. Прекращение деятельности фонда

25. Деятельность фонда может быть прекращена:

а) по решению общего собрания, если за него проголосует 2/3 его участников;

б) решением горисполкома по ходатайству ГК ВЛКСМ, если деятельность фонда противоречит уставу фонда или действующему законодательству.

ПРИТЯЖЕНИЕ ДЕЛА

Андрей ГОЛОМАЗОВ,
первый секретарь
Новосибирского
горкома ВЛКСМ,
председатель совета Фонда
молодежной инициативы

Два активиста нашего фонда поехали в Москву, чтобы в ряде министерств проконсультироваться и попытаться решить несколько вопросов по созданию хозрасчетного предприятия в рамках фонда.

Один из ответственных работников Минфина РСФСР принял командированных без энтузиазма. Что за новости: представители непонятно какой организации — какого-то там фонда от горкома комсомола? А что, если все так будет ездить со своими идеями? Надо было горкому выйти с предложением в обком, обкому — в облисполком, облисполкому — в Совмин РСФСР, Совмину РСФСР — в Совмин СССР, а уж Совмин СССР дал бы указание Минфину РСФСР, и вот тогда бы здесь начали заниматься этим вопросом. Рядом с ответственным работником министерства — очевидно, для кворума — сидели две пожилые женщины, тоже ответственные работники. Время от времени они пожимали плечами и спрашивали: зачем вам фонд? Работайте по существующим инструкциям! Зачем нарушать порядок?..

Однако именно для того, чтобы разрушить устаревшие формы работы, мы и создавали наш Фонд молодежной инициативы (ФМИ).

Конечно, далеко не во всех министерствах представителей ФМИ принимали прохладно и с недоумением. К примеру, с пониманием и интересом встретили их в Министерстве культуры РСФСР. А встреча в Минфине тем не менее лишний раз подтвердила правильность нашего пути.

Фонду год. Теперь уже не ставится вопрос: нужен ли он? Нужен! Скептики остались в меньшинстве. Люди идут к нам, приносят свои идеи, порой прямо таки фантастические. Вот наугад несколько предложений, поступивших в ФМИ. Организация клуба любителей кино, создание клуба подводников-фотолюбителей, проведение выставки «Сатира и юмор», создание клуба «Друзья художника К. Васильева», проведение конкурса программ для компьютеров, организация подрядных бригад для уборки овощей в колхозах и совхозах, создание фирмы «Рабочие руки»...

Сегодня в состав фонда входят три десятка самостоятельных групп, клубов по интересам, любительских объединений — это более трех тысяч человек. Но даже если бы эта цифра была значительно меньше, мы все равно бы не сомневались в необходимости фонда. У нас нет стремления охватить всех и вся. Главная задача — помочь каждому конкретному человеку, идея которого имеет социально полезную значимость. Наш фонд — это социально-экономический эксперимент по вовлечению молодежи в решение задач, стоящих перед страной в период перестройки.

Итак, у вас есть идея или просто желание заниматься интересным делом. Вы приезжаете в центр Новосибир-

ска и неподалеку от главпочтамта на улице Советской легко находите красивую белую многоэтажку под номером 37. На первом этаже Фонд молодежной инициативы. Смело заходите. На стенах зала вы обязательно увидите экспозицию очередной выставки молодых художников, проходите дальше, мимо роля, остановитесь у стенда с объявлениями, можете прикрепить и свое. «Театру «Импро» требуется второй режиссер», «Хочу встречаться с любителями живописи. Андрей. Телефон №...», «Праздник спортивного танца состоится в клубе «Отдых», «Рок-клуб объявляет конкурс на лучшее оформление молодежного музыкального кафе», «Не курить! За курение в помещении ФМИ — штраф 3 рубля»... А теперь открывайте дверь в комнату, там вас встретит кто-нибудь из дежурных фонда — или работник горкома комсомола, или активист городского самостоятельного объединения. Изложите свою идею, оставьте координаты.

Недавно пришла в ФМИ девушка лет шестнадцати.

— Ты откуда? — спрашивают ее.
— Меня мама к вам направила.
— И с какой целью?
— Для... воспитания. Говорит, чтоб по улицам зря не слонялась, а занималась делом.

— А что ты умеешь?
— Люблю рисовать.

Рисовать? Замечательно! Девушке тут же нашли дело по душе. В фонде есть группа «Елочка», которая занимается подготовкой городских праздников, работа — для всех желающих. И вот теперь девушка в этой группе.

Ее мама очень правильно поняла одну из основных задач ФМИ. Наш фонд — это не только катализатор идей, механизм ускоренной реализации социально значимых инициатив, но и школа воспитания нового человека — хозяина страны, ответственного за ее будущее. Воспитания не заучиванием назубок правил: что можно, что нельзя, — а интересным для тебя лично и полезным для других трудом, общением с единомышленниками, энтузиастами. Школа воспитания доверием, самостоятельностью, рождающими инициативу.

Мы уже как-то по привычке к такому словесному обороту: трудно работать с молодежью, молодежь малоинициативна. Но часто малоинициативна она именно потому, что многие ее идеи не находят поддержки. О каком же тут стимуле для инициативы говорить? **В фонде же никакие идеи не пропадают даром!**

Как строится наша работа? Человек приходит в фонд и говорит: есть идея! Это уже само по себе прекрасно. Значит, человек думает, чего-то хочет, к чему-то стремится. Но идея в чистом виде — это пока лишь воздушный замок, не больше. Идея обретает смысл тогда, когда она реализуется. Не случайно среди инициаторов фонда люди тридцати — сорока лет. Их идеи, как правило, зрелые и... выстраданные. В свое время их не поддержали, но люди не потеряли надежду, и вот появилась возможность реализации. Совет фонда определяет социальную значимость предложения и дает ему путевку в жизнь.

Фонд — юридически самостоятельная организация, у нас есть свой счет в банке. Фонд может оказывать энтузиастам финансовую помощь. А это очень важный фактор.

Однажды пришли в ФМИ молодые модельеры. Ни одно ателье не бралось шить костюмы по их смелым, нестандартным эскизам. А фонд выделил им восемьсот рублей, купили материал, сшили. Летом, во время городского праздника газеты «Молодость Сибири», на ярмарке костюмы были проданы с огромным успехом. Так фонд обрел еще одного коллективного члена — экспериментальную группу художественного конструирования одежды.

Фонд устраивает выставки молодых художников, архитекторов, дизайнеров, проводит творческие встречи, помогает самостоятельным театрам: организует их выступления на разных площадках, гастрольи, решает вопросы по их «прикреплению» к какой-либо «крыше» и т. д. Но мы считаем, **досуг молодых нельзя ограничивать только сферой культуры, искусства, традиционными направлениями клубной работы. В структуре свободного времени должны занять прочное место материальное производство и научно-техническая деятельность молодежи.**

Основной принцип фонда: твоя идея — ты ее и должен реализовать. Художники-ювелиры братья Юрий и Николай Голуновы предложили создать творческое объединение мастеров (ТОМ) — самостоятельное хозрасчетное предприятие, в котором будут работать мастера народных промыслов (в основном по совместительству), изготавливать уникальные изделия. Задачи ТОМ — объединить мастеров, воспитывать их, дать им возможность совершенствоваться, пропагандировать художественные ремесла, прививать трудовые навыки школьникам. Кто устроит выставку мастеру, если он не член Союза художников СССР? Как реализовать мастеру плоды своего труда? Все это поможет сделать фонд.

Почему ТОМ не возник раньше? Да просто у предприятий местной промышленности свои заботы, свои заботы, ребята с идеями не нужны. Братья Голуновы уже давно обдумывали, как организовать мастеров народного промысла, а тут возник фонд, и появилась реальная возможность идею воплотить в жизнь. В ТОМ смогут работать и матери, имеющие маленьких детей, и пенсионеры, и инвалиды, и школьники, и студенты. Если изделие представляет собой художественную ценность, оно может быть реализовано. Определенный процент отчисления — государству и фонду. Увлеченные люди смогут общаться, повышать свой профессиональный уровень, обмениваться опытом, а не вариться в собственном соку. ТОМ — это и объединение по интересам, и производственное предприятие одновременно.

Сегодня необходимо широкое внедрение хозрасчета в комсомольскую работу, в деятельность различных молодежных любительских клубов и объединений. Они должны приносить пользу не только воспитательную, но и экономическую.

ФМИ идет по непроторенной дорожке. Нередко идеи по своей смелости значительно обгоняют существующие возможности. Многочисленные нормативные документы и финансовые инструкции играют роль якоря. Законодательные акты обеспечивают достаточно высокую степень свободы для экономического экспериментирования, а вот принятые в их развитие нормативные акты

ведомств эту свободу очень ограничивают. Бывает обидно, когда приходится проявлять гибкость не в организации новых интересных дел, а в том, чтобы обойти какие-то устаревшие правила. Нам помогают горком партии, горисполком, обком комсомола, городской банк, чего не скажешь, например, об управлении общественного питания. **А многие наши идеи могут быть реализованы только при тесном взаимодействии с различными организациями, фонду требуется режим наибольшего благоприятствования.**

Недавно в ФМИ пришли молодые инженеры-электронщики. Группа молодых конструкторов из разных городов создала персональный компьютер, один из его создателей живет в Новосибирске. «А почему бы не договориться с предприятиями города, которые поставили бы нам комплектующие детали, а мы бы собирали, настраивали и ремонтировали компьютеры?» — предложили ребята. Фонд обратился за помощью в горком партии, нас поддержали. Предприятия, которые будут поставлять нам комплектующие, относятся к разным ведомствам, им в силу сложившейся «традиции» сотрудничать друг с другом сложно, но фонд выступил в роли посредника: предприятия заключают договоры не друг с другом, а каждое с фондом. Думается, скоро Новосибирск сможет обеспечить свои школы собственными персональными компьютерами, фонд объединит молодых электронщиков, желающих заниматься живым, интересным делом, даст им возможность творчески расти и, что немаловажно, подработать: ведь они будут работать по совместительству.

...Недавно приехал главный инженер объединения «Вторсырье». Предложил при фонде организовать кооперативы по изготовлению товаров народного потребления из отходов производства.

...Все пустующие в городе помещения — горисполком согласен — хотим превратить в оазисы общения: молодежные кафе, дискотеки, маленькие клубы. Продолжаются строительные работы на старой водонапорной башне, своего рода достопримечательности города, где будет несколько молодежных кафе...

А новые идеи все поступают и поступают. Фонд обладает настоящим полем притяжения. И деловая обстановка, которая царит в фонде, энтузиазм придают новые силы, рождают новые инициативы. Хочется работать!

От редакции.

Готовясь к съезду комсомола, нам надо еще и еще раз обобщить, осмыслить, суммировать все то в жизни и деятельности комсомольских организаций, что связано с умением работать не для отчетов, а для людей, с умением начинать нужное молодым дело и доводить его до конца, до реального результата, с умением знать и понимать, что нужно молодежи сегодня. Такой опыт есть. Людей, умеющих работать так, в комсомоле немало. Им слово!

Андрей МОСЕЦОВ



БЛИЗНЕЦЫ, КОТОРЫХ ЛЮБИТ ЗАВОД

Статистика утверждает, что в многомиллионной Москве всего тридцать две тысячи многодетных семей, то есть тех, где трое и более детей. (Заметьте, как меняются времена: когда-то многодетной считалась семья, в которой «семеро по лавкам», теперь достаточно троих.) А вот сколько в столице семей, имеющих близнецов, статистика умалчивает. По крайней мере в отделе семьи и брака Моссовета нам таких данных сообщить не смогли.

Рождение близнецов — большая радость для родителей. Но это еще и дополнительные хлопоты.

И первая из них — жилье. Понимая это, в московском производственном объединении «АвтоЗИЛ» выделили в одном доме сразу восемь квартир таким молодым семьям.

...Галина и Евгений Клипп жили с дочкой в маленькой комнате коммуналки. Совсем тесно стало, когда родились близнецы Игорь и Сережа. И вдруг такой подарок

от завода — трехкомнатная квартира в многоэтажном доме на Коломенской набережной.

В день, когда мы были у Клиппов в гостях, вся семья оказалась в сборе, хотя в последнее время это бывает не очень часто: Евгений — он теперь заместитель начальника второго механосборочного корпуса — подолгу задерживается на работе. Пока дети заняты игрой — нам, кстати, так и не удалось запомнить, кто из них Игорь, а кто Сережа, — мы разговаривали с их родителями.

— Когда закончился мой долгий отпуск, связанный с рождением детей, мне разрешили работать по полдня, — рассказывала Галина. — Еще через год я смогла оставаться на работе дольше, но все равно у меня сохранялся неполный рабочий день. Появилась возможность управляться с делами и дома, и на заводе — ведь я инженер-технолог, и, конечно, забот хватает. Понятно, что такой работник доставляет много хлопот администрации, но я ни разу ни от кого не слышала упрека в

своем адрес. На ЗИЛе мне всегда идут навстречу...

Прошлым летом Галина с детьми по бесплатным путевкам отдыхала в заводском пансионате в Мценске. Там и отпраздновали день рождения сыновей и дочки. Они все родились в один день — 14 июля, — но с разницей в восемь лет. Это совпадение очень радует детей — сразу столько разных подарков.

В том же подъезде, что и семья Клипп, двумя этажами ниже, живут Михаил и Валентина Домнины. У них тоже трое детей. Только младшие, двойняшки, — девочки, а старший — мальчик. Валентина Домнина, она крановщица на ЗИЛе, убеждена, что без помощи завода ей с мужем пришлось бы тяжело. Во-первых, сейчас у нее нет никаких проблем с детским питанием — в заводском магазине есть все необходимое. Во-вторых, в случае, если ей приходится задержаться дома по непредвиденным обстоятельствам, на работе всегда заменят.

Когда Аня или Саша — так зовут девочек-близнецов — заболе-

вают, что иногда случается, их мама первым делом обращается за советом к медсестре Елене Пиленковой, живущей по соседству. У нее тоже растут две дочки-близнецы.

Родители двойняшек часто встречаются, а поводом для общения, к счастью, служат не только болезни детей. Мама и папа подолгу задерживаются у ворот детского сада, когда забирают малышек домой, обмениваясь последними новостями о новых причудах своих чад, делясь опытом воспитания, своими заботами.

Многодетным мамам выдаются удостоверения, дающие им право на получение льгот, таких, например, как закрепление за определенными магазинами. Жаль только, что возможность приобретать дефицитные предметы детской одежды предоставляется лишь в своем, Пролетарском районе. А здесь всего один такой магазин, выбор товаров в нем невелик. С закреплением за продуктовыми магазинами — благодаря этому

можно покупать товары без очереди — тоже морока. Срок за-крепления нужно ежегодно про-длевать, а для этого приходится представлять в райисполком ку-чу справок.

Но все эти затруднения кажутся молодым родителям мелкими, едва они вспоминают о том, что у них есть главное — отдельная квартира. Ведь на ЗИЛе в насто-ящее время около двадцати че-тырех тысяч молодых семей жи-вут в общежитиях, и, какими бы комфортабельными они ни были, молодые семьи, особенно те, что с детьми, стремятся получить бо-лее основательное жилье.

Руководство объединения эти трудности учитывает, и потому здесь прилагают немало усилий для снижения остроты жилищ-ной проблемы. Формируется мо-лодежный жилой комплекс — после завершения строительства это будет целый микрорайон со своими детскими учреждениями, службами быта и так далее. На заводе создан цех жилищного строительства, который как суб-подрядчик Главмосстроя будет ежегодно вводить не менее 100 тысяч квадратных метров жилья.

Сейчас в заводской очереди на получение жилья приходится стоять в среднем по семь-восемь лет, ведь очередников более



одиннадцать тысяч. Но в ближай-шем будущем вполне реально до-стижение цели, поставленной в объединении: сократить время ожидания до двух лет. Это задача большой социальной значимости, ведь от ее решения во многом зависит стабильность кадрового состава многотысячного рабоче-го коллектива.

Братья Сергей и Игорь Клипп неразлучны — водой не разольешь.

Семейная кооперация. Николай Симонов с близнецами Димой и Алешей и старшим сыном Володей.

Вот так хозяйюшки!

Обед готовить — дело мужское.

Кто здесь Света, кто — Оксана?



Фото Александра ГУЩИНА и Анатолия ХРУПОВА

Валентин Катаев: ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ КРУГОВРАЩЕНИЯ

СЛОВ



О труде и вдохновении

Иногда — и, к сожалению, не так уж редко — молодые люди начинают писать, руководствуясь четко поставленной и очень примитивной целью — они стремятся сделать писательскую карьеру и извлечь из нее все соответствующие выгоды. Как это ни досадно, но у нас в литературе еще можно встретить приспособленцев, которые из крика об общественном деле умудряются устроить себе золотой дождь. Кое-кто из молодых людей, насколько мне известно, хочет стать представителем этой редкой и престижной профессии, просто исходя из честолюбивых соображений и побуждений.

Кто-то считает, что для него писательство — это наиболее подходящий путь к самоутверждению, к преодолению неуверенности в себе. У кого-то же непреодолимая тяга к перу вызвана страстным стремлением к самовыражению, порожденному богатством своего духовного мира, безудержной жаждой поделиться своими внутренними озарениями и находками.

Стремление к самовыражению, пожалуй, самый верный признак таланта, еще — и я это подчеркиваю — не угасшей искры божьей. Но и этому человеку надо обязательно ставить большую, на первый взгляд недостижимую цель, чтобы все его творчество превратилось в непрерывное духовное и профессиональное восхождение. Ему нужно быть готовым к каторжному писательскому труду. Он должен поклясться себе, что всю свою жизнь будет галерным рабом большой литературы. И ни при каких обстоятельствах, даже при самом гибельном шторме не бросит весло. Тогда не исключено, что он чего-то добьется.

Фото Вадима КРОХИНА

Если же начинающему литератору прислушиваться к голосам тех, кто считает, что работать надо только тогда, когда приходит божественное вдохновение — эта подкачка с неба, — когда все вдруг делается само собой, как по волшебству, пишется, что называется, единым росчерком пера, то для него это значит обречь себя на вынужденное бездействие и, в конечном счете — на полное профессиональное вырождение. Дело ведь все в том, что вдохновения самого по себе не бывает. Вдохновение и упорный, изнурительный труд всегда идут рука об руку. Понятия эти активно взаимодействующие: чем больше одного, тем больше и другого. Поэтому дожидаться, когда вещь напишется сама, без мучительных попыток, без бесконечных набросков и вариантов, по меньшей мере наивно. Если придерживаться такого пассивного взгляда на всякое творчество, то невольно возникает вопрос: зачем тогда вообще нужен художник, зачем тогда нужен творец? Чтобы быть послушным и предупредительным официантом у такого редкого гостя, как вдохновение? Нет, я твердо убежден, что напряженнейший труд и вдохновение разделить просто невозможно. Более того, одно всегда является органичной частью другого. Это как раскаленные угольки, на которых пляшет пламя. Ведь, как известно из богатейшей истории мировой литературы, вдохновение всегда сопутствовало не только самым одаренным и талантливым писателям, оно, как тень, сопровождало самых работоспособных, самых добросовестных из них. Тех, кто был по-настоящему предан литературе. Вспомните, с каким самозабвением работал Пушкин! Как он радовался, когда ему удавалось расписаться и у него один за другим рождались стихи.

В последние дни своей яркой долгой жизни — в январе этого года ему исполнилось бы 90 лет — замечательный советский писатель, Герой Социалистического Труда Валентин Петрович Катаев много размышлял о будущем нашей литературы, о формировании и созревании молодых прозаиков, об их ответственности перед читателем, перед обществом, перед временем. Свои мысли, соображения, советы писатель адресовал прежде всего собратям по литературному цеху. Однако все, что сказано им (и записано на пленку диктофона), относится, конечно, не только к начинающим литераторам, а и, по сути, ко всем молодым людям, вступающим в жизнь, ищущим в ней свое место, мечтающим обрести собственный голос и по-настоящему творчески трудиться на избранном поприще.

И если я слышу, как какой-нибудь литератор жалуется, что у него ничего не пишется, что вот, мол, попал в унылую полосу невезения, то я твердо знаю, что виновник всего этого только он сам. Винить больше некого. Я думаю, что наше писательское ремесло сродни тяжелой работе кузнеца — только постоянной работой мы можем поддерживать творческий огонь в душе. Надо изо всех сил стараться, чтобы он не ослабевал. Тогда можно будет и смело создавать новое, и заниматься перековкой вещей, их постоянным совершенствованием. Если трудиться так же азартно и увлеченно, как кузнец, то и ты, точно так же, как и он, будешь влюблен в сам процесс создания, пожалуй, не меньше, а может быть, и гораздо больше, чем в уже готовый предмет своей работы. Другими словами, ты, как и он, невольно превратишься в художника. И тогда уже не будет ничего удивительного в том, что у тебя будет без устали, непрерывно работать подсознание. Оно тогда будет подобно чуть притихшему, но действующему вулкану, который в любую, самую неожиданную для тебя минуту может начать извергать лаву. Вот тогда-то в нем и будет сосредоточено все таинство творчества, вот тогда в нем и будет зарождаться вдохновение. Именно в такие дни ты и будешь вскакивать по ночам и, полуслепой от яркого света только что вспыхнувшей лампы, судорожно хвататься за ручку и лихорадочно записывать — пока не ушли, не исчезли! — дарованные тебе неведомо кем драгоценные, готовые строчки.

О знаниях и учении

Думаю, что нельзя никому подражать даже в период ученичества. Надо учиться у классиков, но не подражать им. Потому что это губительно. А учиться самому важному — выразительности, лаконичности, емкости, искренности — надо. У Чехова, Толстого, Гоголя, Пушкина, Тургенева, Заболоцкого...

Мне кажется, что начинающему литератору надо как можно больше читать, прямо по списку, как это постоянно делали только что перечисленные мной писатели. Всех их отличала настоящая страсть к чтению, и благодаря этому все они были образованнейшими людьми своего времени. Кстати говоря, круг их чтения был необычайно, завидно широк. Об этом

красноречивее всего свидетельствует переписка любого из этих писателей. В одном из писем Пушкина из Михайловского в Петербург, к брату, есть такие замечательные строки: «Покамест мне довольно скучно: ты мне не присылаешь «Беседы» Байрона, добро! но, милый мой, если только возможно, отыщи, купи, выпроси, укради «Записки» Фуше и давай мне их сюда; за них отдал бы я всего Шекспира; ты не воображаешь, что такое Фуше! Он по мне очаровательнее Байрона. Как политика, эти записки должны быть сто раз поучительнее, занимательнее, ярче записок Наполеона, потому что в войне я ни черта не понимаю». В другом письме своему приятелю он признается, что испугался и устыдился того, что большинство из упомянутых тем книг по истории ему совершенно незнакомы, но обещает, что употребит все свои старания для того, чтобы их достать. Во многих других письмах Пушкин иногда буквально умоляет друзей или брата прислать несколько книг по прилагаемому списку, жалуется, что каких-то книг все еще не получил, очень просит прислать, потому что «сердцу хочется».

Я думаю, что начинающему литератору надо как можно больше черпать из душ великих людей, из их великих жизней. Мне кажется, что это будет замечательно, если чьи-то достоинства, а не только сокровища мировой культуры будут становиться твоим внутренним миром. По-моему, для всех нас большое счастье, что в нашей литературе есть такие замечательные писатели, без которых просто невозможно жить. Я твердо убежден, что их книги всегда должны быть под рукой у молодого автора.

А писать надо как можно проще. Фразы в тексте должны быть ясные, прозрачные, изящные, если хотите. Чем чаще всего занимаются молодые авторы? Для того, чтобы построить здание, они начинают строить леса, а к тем лесам подстраивают еще леса, чтобы таким образом укрепить первые леса, а потом еще землицы подсыплют — для прочности. И в результате окажется, что проникнуть в это здание просто невозможно. Потому что сквозь такие нагромождения ни один нормальный ни за что не пройдет.

Мне хочется сказать — и в этом я уже давно убедился, — что простота всегда выручает не только молодого литератора, но и зрелого, опытного писателя. С ее появлением сразу же, как по волшебству, отпадают ненужные глаголы, прилагательные, местоимения, придаточные предложения. Автор, отказавшись от всяческих ненужных ухищрений и хитросплетений, сумеет преподнести нам весомое, очищенное от всякой шелухи ядрышко, в котором зримо и выпукло будет содержаться вся суть прожитой им реальной и художественной жизни. Считаю, что молодым литераторам надо, образно говоря, работать только на свежем воздухе, без всяких масок и балдахинов.

Любой начинающий писатель всегда неизбежно ставит себя под удар, как только окунается в никому не нужные подробности. Мало того, что они дробят замысел, страшнее даже другое, о чем я уже только что говорил, — читатель на каждом шагу будет встречать самое активное сопротивление, и получится, что вместо откровенного, доверительного разговора, которого он и ожидает от книги, его будут грубо отталкивать. Разве может понравиться читателю писатель, который не пускает его к себе в книгу, не дает пожить рядом с героями произведения? Конечно же, такой писатель никому не нужен. Поэтому, мне кажется, всем нам надо как можно быстрее избавляться от бесполезного круговращения пустых и никому не нужных слов.

О смелости и мужестве

Самое великолепное качество молодого литератора — это, по-моему, замахать на самое трудное, на первый взгляд невозможное, неосуществимое. Вот тут-то ему и надо, ничего не боясь, преодолевать сопротивление материала. И чем больше этот материал будет сопротивляться, тем это будет лучше и полезнее для начинающего автора. Потому что благодаря этому он быстрее обретет определенные профессиональные навыки, приблизится к писательскому мастерству. Именно по этой причине любому новичку надо взять себе за правило доводить всякое начатое дело до конца. Это, конечно, не так-то просто, но как раз в это трудное для него время ему и следует быть посмелее, понастойчивее и как можно больше работать. Когда же еще в полную силу экспериментировать, как не в молодости? Но, к сожалению, мне известно множество случаев, когда даже очень талантливые молодые люди останавливались на полпути, не доводя до ясного завершения, не завершали то, что было ими найдено, и в результате как художники шли на убыль... А сделай они еще один лишний шаг, еще одно усилие — и получилось бы какое-то открытие, может быть, даже заметное литературное явление. Находка же, которая не получила должного развития, не была доведена до конца, остается пустышкой. Вот по этой причине я предпочитаю хоть маленькое произведение, но законченное, чем большое, но в черновиках...

В молодости я дрожал над одним рассказиком как над драгоценностью: то подправлю, то что-нибудь добавлю, то одно слово уберу, то опять его на место верну. И длилось это не один год. А потом, когда его напечатал, то видеть его не мог — так я сам себя, работая над ним, замучил.

Из своего опыта я также вынес, что работать надо стремительнее, энергичнее, браться за дело только по-мужски, двумя руками.

От кого-то из писателей я слышал, что Юрий Трифонов так советовал начинающим литераторам: «Не бойтесь писать вовсю! Пусть даже идет поток графомании. На трезвую голову разберетесь». Этот призыв к энергичному, смелому письму, к письму на едином дыхании, заслуживает самого серьезного внимания, потому что если у автора будет первый черновой вариант, то после можно будет отсечь все лишнее и ненужное, придать приемлемую форму, сделать правку. Перед глазами всегда лучше иметь что-то конкретное, это намного лучше, чем иметь в голове множество, пусть даже гениальных замыслов. Очень верна поговорка, которая утверждает, что живой пес всегда лучше мертвого льва.

А стремительности в работе можно поучиться у Достоевского. Вспомните, как он был вынужден меньше чем за месяц написать роман, иначе все его последующие произведения выходили бы на очень каменных условиях. И он совершил невозможное — за 26 дней написал «Подросток».

Мне кажется, что стремительность более свойственна молодым. С возрастом — и я это по себе знаю — писать значительно труднее, несмотря даже на то, что ты вроде овладел уже определенным профессиональным мастерством.

Зрелый или даже маститый писатель иногда — перед началом работы над новым произведением — не может стряхнуть с себя сковывающего его оцепенения, потому что прекрасно знает, какие трудности ему придется преодолевать перед тем, как он сумеет добиться воплощения замысла. Он предвидит, сколько сил ему придется положить, прежде чем ему удастся прийти к цели, к завершению книги. Он не может заставить себя работать, потому что, простите, кожей чувствует, знает, видит, какой неподъемный перед ним материал... У некоторых писателей, насколько мне известно, уже от одних этих мыслей даже начинает побаливать сердце. Начинающим литераторам такой страх, к счастью, неведом. Именно по этой причине в среде молодых авторов иногда происходит удивительная вещь. Мне известны случаи, когда новичок вдруг — без оглядки на бесчисленные авторитеты, без убийственного, пагубного самонализа, без мучительного вынашивания замысла, без единой мысли о том, как все же это трудно, — возьмет да и напишет хорошую книгу. И если вдуматься, как же это здорово! Он как бы проидет по краю пропасти, даже не ведая, что находится на волосок от гибели. И если очень повезет, то и пойдет себе дальше. Но в нашем ремесле это, конечно же, большая редкость.

Новичкам в литературе, когда их бьют — а бьют их, как правило, крепко, — следует помнить, что плакать в таких случаях, как бы горько и тяжело ни было на душе, им совсем необязательно. Потому что бьют их, скорее всего, за дело и, если разобраться, для их же пользы. Плакать начинающему автору надо тогда, когда он сам вдруг сломается, растеряет себя, превратится во что-то тусклое, безликое и аморфное. Вот тогда действительно надо плакать. И плакать навзрыд.

О духовности и самосознании

Когда я вижу, как идущий в сторону школы мальчуган тащит громадный для него портфель и все его неокрепшее, свесившееся на одну сторону тельце подчинено выполнению этой непосильной и такой земной задачи, меня не может не восхищать то, куда повернута его голова. Она ведь даже в эти минуты не на земле — он витает по крышам домов, по верхушкам деревьев, он целиком там, среди воробьев и облаков. И дорого бы я дал, чтобы узнать, чем в эти минуты переполнена его голова. Ведь мысли-то у детей всегда гениальные, потому что еще не подчинены стереотипам. Вся беда только в том, что они просто не могут их выразить. Если бы им это удалось, то наша духовная сокровищница была бы намного богаче... Детство — это удивительный мир, и молодые авторы, которые еще не очень далеко от него ушли, по-моему, могут его описать. Их первоочередной долг, наверное, — попытаться вернуться в детство, в это тепло, в эту искренность, в эту светлую неповторимость...

Автор должен иметь четкую, ясно выраженную концепцию своего произведения, но он ни при каких обстоятельствах не имеет права писать холодно. Чехов считал, что обдумывать творческий замысел надо трезво и холодно, а писать горячо и взволнованно. Книга должна быть целиком написана неостывающим пером художника — и тогда все в ней будет пронизано духовностью. И особенно это касается жизни героев. Для чего это необходимо? Для того, чтобы читатель увлекся, обогрел душу, получил

эмоциональный заряд, который так нужен человеку в его каждодневной жизни. Читая Гоголя, Пушкина, Чехова, Льва Толстого, особенно хорошо понимаешь, что драгоценнее духовности на свете ничего не бывает. Но о ней начинающему автору ни в коем случае не следует кричать. Надо, чтобы она просто присутствовала. И тогда каждая встреча читателя с книгой будет запоминающимся на всю жизнь уроком гуманизма.

А сюжеты нас окружают, они у нас под рукой. Не мешает, наверное, лишний раз показать, как вещь становится полноправным хозяином человека, а он — ее жалким придатком, ее безвольным рабом. Можно проследить шаг за шагом, как это страшно происходит, как обесценивается человек, как, например, человек — это высшее создание природы — постепенно становится безликой приставкой к цветному телевизору. Или как хозяином человека становится старинный шкаф с инкрустированной дверцей. Это ли не трагично для современности? Чума вездества уносит сейчас от нас тысячи и тысячи человеческих душ. А почему бы не поговорить о так называемом маленьком человеке, чтобы вызвать его к жизни, чтобы разбудить в нем огромные силы? Ведь они в нем есть! Допустим, написать о том, как какой-нибудь инженер-неудачник сидит себе в тихой заводи семейной жизни и никак у него устремлений, кроме как к телевизору, нет. Ну на первый взгляд полное ничтожество, его и жена презирает, и дети догадываются, что что-то здесь не в порядке, что ничего их папа никогда не достигнет, не изобретет, не станет таким, чтоб им можно было бы гордиться. А ведь им, детям, это так нужно. И вдруг ни с того ни с сего в нем просыпается волевой и гордый человек, который может все, который в силах совершить самое дерзкое и неожиданное открытие и при этом не устареет ничего в этой жизни, даже смерть его не остановит. А изменило его, скажем, то, что он вдруг, как в зеркале, себя рассмотрел, как бы чужими глазами увидел, как густа и бесполезна его жизнь, что, кроме послушания на службе, в ней ничего нет, что живет он всего лишь на два процента, что вот уже двадцать лет незаметно превращается в ничтожество. И вот от этого очень важного для него открытия в нем вдруг проснулся настоящий гладиатор, вызывающий только чувство гордости и восхищения... Вот о чем надо писать. Чтобы из повседневности всегда что-то прорисовывалось и чтобы у тебя было ощущение, что это нужно всем до единого, а не только тебе одному. Автор, повторяю, может многое. Даже из маленького человека он способен сделать великана. К тому же сейчас это гораздо проще: ведь если маленький человек из «Шинели» Гоголя был порождением и жертвой царской эпохи, то сейчас времена так круто изменились, что маленьких людей у нас нет. Сейчас все в руках самого человека, и избираемая им профессиональная и личностная высота зависит только от него самого, а не от каких-то там внешних сил.

О всеприсутственности

По-моему, стать хорошим писателем сможет только тот, кто сумеет сохранить свою индивидуальность. У большинства начинающих все поначалу бывает неординарным, необычным, свежим, но поработают они немного в литературе — и ты с досадой видишь, что все это куда-то ушло, причислалось. Каждому новичку, наверное, надо стремиться не только найти свой собственный художественный ключ, но и ни при каких обстоятельствах его не утратить. Всегда надо быть только самим собой — и тогда тебя примут даже необструганым.

Первые вещи нередко получаются очень удачными не только потому, что самый драгоценный опыт — это тот, который был накоплен до того, как человек начал писать. Они удаются, потому что они искренние. Недаром в книгах о детстве всегда столько света. Затем авторы пишут уже более осмысленно, пристально наблюдая и изучая жизнь. Они даже специально собирают материал, отыскивая его в архивах, в библиотеках, встречаются с очевидцами описываемых событий. Но они ничего не выигрывают, если в их работе будет отсутствовать такой важный компонент, как искренность. Без нее самая высокохудожественная проза будет мертва. Как справедливо считал Горький, всегда надо говорить правду — и такую, чтоб от нее дух захватывало.

Еще молодому литератору, видимо, следует постоянно задавать себе вопрос: чего хочет моя душа в этом мире? К чему она должна стремиться? В нем ни в коем случае, ни на минуту не должно быть духовного успокоения, духовной апатии. Только при таком условии у него будет ясная, честная точка зрения на все на свете, без которой, как известно, никакое творчество вообще невозможно.

Вспомнить не мешает, наверное, и еще об одном. Все создаваемое всегда — и обязательно — должно быть проникнуто не только индивидуальностью автора, но и его личностью. Если за материалом книги стоит яркая, сильная личность, то книга обязательно будет интересна. Считаю, что только при таком условии автор имеет право произнести сакраменталь-

ное булгаковское «За мной, читатель!». Поэтому начинающему литератору надо неустанно стремиться к тому, чтобы и самому стать личностью. А для этого, помимо волевых качеств, каждый писатель должен иметь в себе вполне осязаемый культурный слой — не налет, повторяю, а слой.

Пикассо сказал как-то, что художник — это тот, кто собирает впечатления отовсюду — от неба, от прошедшего человека. Вот для чего молодому литератору надо иметь зоркий глаз. Чтобы он мог сказать о жизни такое, чего я не знал раньше. Наблюдательность поможет ему расщепить любое явление до самых его корней. Ясно, что тогда вещь будет держать читателя не только ощущением узнавания нашего времени, духовного облика современника, но и радующей новизной авторского видения. Кстати говоря, если нет личных впечатлений, я бы никогда не рискнул о чем-то писать.

Еще мне кажется, что проза молодых не должна чересчур уж долго быть замешена на инфантилизме. Им надо побыстрее браться за решение тех больших проблем, которые стоят перед всей нашей страной. К сожалению, начинающие авторы чаще всего преступно долго пасутся на крошечном лоскутке поля своей жизни, хотя им-то как раз более всего и нужен смелый выход в большой мир. Молодые писатели, по-моему, должны учиться мыслить масштабнее и становиться в этом смысле, если хотите, государственными мужиками.

И еще: молодому автору, по-моему, надо поменьше любить свои книги и самого себя, тогда и то, и другое будет лучше. Очень важно научиться относиться к себе более критично, потому что при работе над прозой у начинающих очень часто возникает чисто юношеский обман зрения. В детстве мы все в кусках угля выискивали золотишки и очень радовались таким находкам, потому что были уверены, что у нас в руках — чистое золото. Легковере и наивность несли нам ощущение счастья. Не могу без улыбки вспомнить о том, как в девять лет я был настолько уверен, что стану писателем, что открыл толстую общую тетрадь и написал большими буквами: том первый. Та пруть, с которой я взялся за написание полного собрания сочинений, очень развеселила моего отца. Но признаюсь, что ничего из написанного тогда и даже из более позднего в первый том собрания все-таки не вошло. Между тем солнечным днем детства и первой строкой первой книги лежали груды и груды старательно исписанной бумаги.

Не следует забывать, что писатель начинается не с желания написать книгу и даже не с момента ее издания. Он начинается с осознания своей причастности к делам своей Родины, с огромной любви к людям, с тревоги за нашу крошечную планету, каким-то чудом ожившую в огромности этого мироздания.

О боли и доброте

Настоящий художник — а разговаривать мы, наверное, должны только о таком — всегда должен быть для, скажем так, окружающей среды неудобным, колючим, неуживчивым. По-моему, он никогда не сможет слиться, примириться с внешним миром, где все еще очень далеко от совершенства. Настоящий художник никогда не сможет сконформироваться, сааптироваться, безропотно и послушно вписаться в окружающий пейзаж. Потому что, как только это произойдет, он тут же прекратит свое существование как самостоятельная творческая единица. Вот как раз по этой самой причине художник должен из всех сил защищать крошечный островок своей независимости и вести оттуда честные и смелые репортажи — давать трезвую и бескомпромиссную оценку всему происходящему. Вот для чего, по-моему, и существует современный художник.

Конечно, в современном истерзанном, раздерганном мире, размещенном на гигантской пороховой бочке, неприятнее всего художнику с его обостренным мировосприятием, обнаженным и чутким сознанием, впечатлительностью, с его врожденной жаждой человечности и гармонии. Но этой самой гармонии и не видать. Так что неудивительно, что жизнь художника чаще всего превращается в муку. Поэтому мне кажется, что у настоящего художника все работы должны быть переполнены болью. И чем в современном произведении больше боли, тем значительнее и сильнее его создатель. Если же ее нет совсем, то можно с уверенностью сказать, что мы имеем дело с ремеслом. Потому что жизнь наша начинается с боли и болью заканчивается — а в пределах бытия ее вообще невыносимо много. Но, несмотря на это, настоящий художник никогда не расстается с добротой — из сердца его всегда бьет солнечный лучик. Вспомните Чехова: сколько у него было боли за человека, сколько сострадания.

Больше всего огорчает то, что у некоторых начинающих авторов все работы написаны чересчур камерно, ровно, успокоенно. Не хватает в них жизненной драмы, взрывов, конфликтной энергии. Читайте такую прозу и думаешь, что жизнь ведь гораздо сложнее и намного больше.

Кроме того, теперешние молодые литераторы в

большинстве случаев несколько эстетизированы и явно любят своим стерильным пением, а ведь как раз им было бы лучше иметь побольше раскованности, как можно больше исповедальности. А то они почему-то все по-аптекарьски взвешивают и из-за этого недодают читателю как раз того, чего он от них больше всего ждет.

Часто перед тобой — умно написанная проза, вроде можно читать, что-то вроде даже задевает. Но всмотришься в нее как следует и с досадой убеждаешься, что все это пятаки, которые в метро бросают, чтобы беспрепятственно войти. И автомат всегда срабатывает на стандартный пятак. В таких случаях думаешь, что автор начеканил таких пятак со знанием дела, ювелирно и даже талантливо. Но лучше бы он сделал один золотой, который в автомат пусть даже бы не прошел, но зато всем понадобился.

Отдают молодые дань и лакировке. Я знаю одного литератора, так среди его стереотипных и безликих персонажей нет даже по-настоящему отрицательных героев. Но ведь это не проза, это кукольный театр. Писать так не следует хотя бы потому, что уже через месяц такой автор станет неинтересным. Если вы забудете книгу такого литератора в электричке, то это вас несколько не огорчит — а может быть, даже обрадует, — потому что, кроме набора штампов и стереотипов, вы ничего не потеряете.

Молодым можно простить все, кроме уподобления старикам — кроме дряблости, инертности, отсутствия смелости, дерзости, порыва, свежести взгляда, импульсивности, непосредственности и простоты. Мне по душе люди дерзновенные, бросающие вызов любому авторитету, в нелегком писательском труде смелые до беспредельности, пульсирующие мыслью, активные, одухотворенные оригинальностью. Такие авторы хороши также тем, что в них нет и тени конформизма, ни намека на унижающее приспособленчество. Ведь те литераторы, которые этому подвержены, по сути дела, уже бездействуют. Когда я вижу рядом тех и других, то почему-то вспоминаю ручей, где податливые водоросли послушно повторяют движение воды и где среди этих водорослей резвятся быстрые серебристые рыбки, которые в силах плыть даже против течения.

Надо дорожить своим голосом, использовать в работе только свое. А в начинающем авторе надо прежде всего выискывать достоинства, а не недостатки. Видеть или находить недостатки проще всего. Суметь разглядеть достоинства намного сложнее. Но как это необходимо! Обнаруженные достоинства обязательно принесут их владельцу огромную пользу. Тогда даже при больших неудачах, которых у начинающего бывает — и должно быть! — сколько угодно, у него не ослабевает интерес к творчеству. А, наоборот, появится очень нужная для писателя уверенность в собственных силах. По-моему, работая с молодыми, нам надо побольше говорить о достоинствах человека — это и полезнее, и достойнее. Помните, как замечательно о незыблемом условии творчества сказал Габриэль Гарсиа Маркес: «Писателю больше всего нужна уверенность в себе. Уверенность вопреки всему, вопреки самой логике. Такая уверенность, чтоб даже если вам сказали, что все вами написанное противоречит самой логике, вы бы смело ответили: значит, неверна сама логика».

Тем, кто учит молодежь, надо стараться видеть шире своего привычного диапазона восприятия. Я, например, понял, что какое-то время не мог читать и живо воспринимать «Божественную комедию» Данте Алигьери только по той причине, что для этого еще не созрела какая-то часть моей души. С никому не известными новичками дело обстоит, конечно, еще сложнее. Мне кажется, что учителям надо уметь видеть не только то, что им нравится. Считаю, что признавать только то, что созвучно тебе самому, — это обедненное состояние души. Как известно, в книгах Достоевского не хватает ярких пейзажей. Это ему в свое время ставили в вину, и это было одной из причин, почему его не хотели признавать. Но мы-то теперь очень благодарны именно тем немногим авторитетам, которые за него боролись и оставили нам Достоевского.

За то время, что мне пришлось работать с начинающими литераторами, я множество раз убеждался, как много у нас талантливой, преданной литературе молодежи. Тогда же я понял, что она требует к себе очень чуткого и бережного отношения. Потому что по-настоящему одаренные молодые люди чаще всего чувствительны и хрупки, как редкие старинные часы, которые не то что от удара, но даже от малейшей, даже самой пустяковой встряски могут навсегда выйти из строя. Такого рода случаи, к сожалению, известны. О будущем нашей отечественной литературы следует заботиться, наверное, так же, как мать заботится о своем ребенке.

Молодых авторов должно быть побольше рядом с профессиональными писателями — это очень естественно. Потому что, когда рядом трава и цветы — это настоящий, раздольный луг. Когда же одни цветы — это всего лишь оранжерея.

Подготовил
Евгений ГИЛЬМАНОВ.

Мария КОРЯКИНА

В молодости я думала, что всегда буду молодой или умру молодой. Но вот и молодость моя позади, и многое-многое теперь уже позади. А я живу. Не хуже других, хотя во многом не так, как хотелось, но всегда честно, не зарилась на дармовое, не выбирала, где легче. Теперь, когда мне за сорок, у меня есть что вспомнить хорошего из того, что было, разумеется, есть и такое, что я вспоминаю без удовольствия, что хотела бы забыть, когда даже от воспоминаний хочется куда-нибудь уйти, может, в неведомые края и дали, к травам росным, к цветущим черемухам или к тихим и вольным заводям, так, наверное, манит вернуться в детство. Но мне мало пришлось познать, почувствовать в детстве все это, я — дитя городское, в деревне была случайно, наездом. В этом смысле в моем детстве получилась пустота, которую всю жизнь ощущаю и постоянно как бы восполняю ее: при возможности стараюсь бывать в лесу, на реке, даже в городе выбираю травянистые тропинки, если можно свернуть с асфальта, ну и, конечно же, чтением книг, особенно поэзии, Некрасовской, есенинской, рубцовской, пронзительно воспевающей русскую природу. Но если уж говорить о поэтах, то больше других люблю Блока.

Мама моя умерла от тяжелой, врожденной болезни, когда мне было одиннадцать лет, папу не помню. Я подолгу жила у бабушки — старшей маминной сестры, позже она меня наставляла на путь истины, добрая и справедливая, верующая, но не фанатично, мудрая и чуткая, неустанная труженица и светлый человек.

После школы были годы студенчества. Эта пора для меня совершенно особенная, не говорю уж о том, что неповторимая, ведь ничего в жизни человека не бывает дважды, подобное случается, а дважды — нет. Студенческая пора — самое счастливое время, самая яркая пора в юности, яркая и стремительная, когда как бы ветер в спину. Для меня лично именно такой была жизнь, когда я училась в институте.

Я окончила филфак и на всю жизнь полюбила литературу, много читала и читаю, читаю быстро, и это меня очень выручает, и чем дальше, тем больше, потому что в жизни чем дальше, тем больше не хватает времени. Литературу, осмелюсь сказать, знаю, а уж поэзию, а уж Блока!..

После окончания института преподавала в школе, затем в техникуме, потом опять в школе.

Помню, после второго курса института мы небольшой компанией поехали на Сахалин. Обехали его почти весь. Путешествие это незабываемо! Один Тихий океан чего стоит! Именно с тех пор мир для меня сделался шире, просторней. Там я увидела жизнь и быт охотников и оленеводов. Там мы встретили удивительную женщину, тетку Катю. Она подолгу жила в тайге, шалаш у нее там был построен. Возьмет, бывало, тетя Катя с собою собак и отправится на медведя. Одна. Я смотрела на нее, восхищаясь ее силой и сноровкой, отважностью и выносливостью. Я подобных ей не встречала. И вот смотрела я на нее и думала: у нее ведь тоже одна-единственная жизнь, и хотя она, тетя Катя, крепкая, сильная, правда, курящая — но это ли недостаток в современном обществе, когда половина, если не больше, девиц и женщин курят! — однако и она не два века будет жить. А как же с личной жизнью обстоят у нее дела? Ведь женщине предназначено быть любимой, женой, матерью, бабушкой?.. Я мысленно попыталась нарядить ее в платье, в туфли, даже прическу придумала (она коротко, «под горшок» стрижена) — ничего у меня не вышло, зато до завидного ладно на ней сидела ее повседневная, таежная одежда. Что собою представляет ее оседлое, постоянное жилище на берегу океана, я не знаю, не видела. Зато как ей на

НАДЕЖДА

горькая, как дым



Рисунок Сергея БОРИСОВА

берегу Великого океана все было родственно, близко! Тогда меня поразила еще тундра: бескрайняя, солнечная. В лунную ночь до жути прекрасная! Давным-давно умершие высокие деревья, черные, без листвы, со зловеще торчащими сучьями, стояли огромными плантациями... Тьма-тьмущая ягоды, и от этой ягоды все было сизо-голубое — она и называется голубикой. И еще все время было такое ощущение, что вот-вот поднимется из-за кочек медведь. Их там было в то время много.

И опять мысль: и тундра, и тайга, и океан — не хватает взгляда все это обозреть. А женщина, тетя Катя, здесь свой человек и хозяйка!

Удивил там меня также сухой, высокий, веселого нрава мужчина, лет сорока пяти. Живет там с женой уже лет двадцать, занимается охотой. Убил тридцать три медведя! Он не одичал, очень развит, большого природного ума, трудолюбив. Мы у него неделю гостили. В устье речки, впадающей в реку Поронай, их дом, один-единственный, никого вокруг. А рыбы в реке! Горбушу или кету можно зачерпнуть с берега сачком. Вода от рыбы просто кипела, даже вроде страшно было наблюдать такое скопище рыбы, до этого-то я и тайменя в глаза не видела, знала щуку, карпа, окуня — и все. Сопки сплошь в стройных, громадных елях, и из них текут светлые мелкие речушки, и рыбы в них прямо битком! Огромных горбуш мы ловили руками. Теперь это кажется неправдоподобным... Охотник рассказывал, что когда рыба идет в три слоя — в это время в воду не заходи: собьет с ног.

Несколько дней мы провели тогда в бухте Забвения. В одном месте во время прилива выбрасывало на берег много темного янтаря, и мы собирали его. Интересно так было: идешь, и вдруг в водорослях, в песке блеснет, засверкает солнечно-коричневым насквозь...

Другим летом уже перед началом учебного года мы, опять-таки небольшой компанией, побывали на Ямале. Первый день пути прошел, как обычно, в дороге: пели песни, читали стихи, вспоминали о разном, мечтали, а потом, вытянувшись на плацкартных полках, дремали.

К вечеру стал накрапывать дождь, к ночи разошелся, и мы приуныли: вдруг с погодой не повезет, и тогда вся поездка пойдет насмарку. Но, сказав себе, что утро вечера мудренее, под шорох дождя по вагонной крыше, под перестук колес уснули.

Утром проснулись от ослепительно яркого солнца, бьющего в окно. Мимо проплывали ягельные поляны, похожие на свежеспаханное, рыжое, темно-серое поле; за ними пошел сплошной кедрчак, густой, отливающий темной хвоей... Не успели наглядеться, как вдруг будто небо сделалось выше, кроваво-красные карликовые березки сплошь залили землю багрянцем, и чудилось, будто вспыхнуло знойное зарево. Вдали, то в одном месте, то в другом, обозначались каменные останцы... А потом... обозначился Уральский хребет тонюсеньким, трепетным кружевом, повисшим в воздухе, затем увидели старый хребет, издали напоминающий окаменелое огромное животное, мирное, будто уставшее, на вершинах его лежали вечные снега. В том месте, где была проложена железная дорога, черный камень на срезе сверкал прожилками слюды — можно было выйти из вагона и прикоснуться к вековой каменной глыбе...

Поезд начал убыстрять бег, словно разгорающееся буйство осенней северной тайги могло опалить...

Мы видели водораздел, видели захоронения богатых хантов, посетили хантыйское кладбище, где было все необычно: высокие могильные холмы, затянутые дерном и мхом, не уходили в землю, в вечную мерзлоту. В деревянных рубленых склепах, в которых вечным сном спали женщины, сверху лежали чугуны, чашки, ухваты, разделочные доски и другие предметы кухонной утвари, а в изголовье сруб прорублено маленькое оконце, и в него можно было увидеть платок на голове, темную косу с вплетенными в волосы нитками бисера, лежавшую на груди. На ближних березах трепетали на ветру ленты, платки, полоски яркого ситца, повязанные за непорочно белые стволы. Однако ни у кого из наших не возникло желания протянуть руку в нишу.

Поверх мужских могил лежали нарты, шесты, рыболовные снасти, ветхие, полуистлевшие, оконца же были наглухо закрыты. Зато в малюсеньких нишах стояли стаканы, некоторые со спиртом, другие с брагой, перед могильниками в траве попадались баллончики с аэрозолем от комаров. На нижние обломанные сучья берез вздеты порожние бутылки, чтоб соплеменник в загробной жизни знал, как его родные и друзья хорошо живут и часто приходят сюда — помянуть. А аэрозоль сгодится, когда он вернется в образе медведя, собаки или оленя с того света, чтоб продолжить жизнь...

В захоронениях богатых хантов виднелись россыпи полуистлевших бумажных денег.

На кладбище не ощущалось тлетворного духа, ни той оторопной жути, которую всегда невольно испытываешь, бывая на кладбище. Зато, как потом оказалось, тогда каждый незримо чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд как бы со стороны, мы редко и тихо переговаривались, ступать старались неслышно и скоро заторопились покинуть этот последний приют когда-то живших здесь людей... Этого тоже никогда не забыть.

Не раз и не два рассказывала я потом обо всем этом своему подрастающему сыну, чтоб его детство было полнее, интереснее, чем мое, а когда вырастет, когда «встанет на крыло», больше бы ездил, смотрел, наблюдал.

Тогда я всю зиму копила денежки, понемногу откладывала от стипендии, а училась я хорошо, три последние курса «тянула» на повышенную, да еще на пару с подружкой своей закадычной прирабатывали ночной няней в железнодорожном «приемном покое» — так назывался тогда медпункт, а точнее, скорая помощь при железнодорожной станции. Платили нам, конечно, очень мало, зато выписывали бесплатный железнодорожный проездной билет — по нему ездить в любой конец страны! — и это нас очень даже устраивало. К концу учебного года сбивалась небольшая компания, мы разрабатывали маршрут, отдавали всяк свои сбережения в общий котел и весело пускались в путь.

Когда окончила институт и стала работать, поехала по турпутевке в Югославию — Болгарию — отпуск же восемь недель! Не помню, то ли в Дубровнике, то ли в Старой Загоре нас разместили в гостинице, бывшей когда-то монастырем. Ночь была тихая, лунная, кругом чужая земля, где-то поблизости скрипуче квакали лягушки, издали доносило сыростью, а я, усевшись у окна, читала своим спутникам по путешествию стихи. Наверное, они уже десятый сон досматривали, пока я поняла, что спят...

А я уснуть уже не могла.

Когда вышла замуж, еще дважды, уже не компанией, а с мужем мы во время отпуска путешествовали: первый раз ездили на Кавказ, в лермонтовские места, затем — на Рижское взморье. Позже мы стали ограничиваться поездками на близкие водоемы, речки или озера — муж мой оказался заядлым рыбаком и охотником, но больше — рыбаком.

Затем у нас появился сынок, и я какое-то время не могла бывать на природе, зато переживала удивительную пору материнства. Правда, жить стало труднее, иногда катастрофически не хватало денег — муж заведовал в горисполкоме отделом, имел оклад сто сорок рублей. Для меня такое положение не было привычным, но и не доводило до отчаяния, не казалось безвыходным. И мы не ныли, мы держались браво, разговоры о деньгах не заводили — ведь знали же, что не лентяи, не тунеядцы, у всех всякое бывает, переживем и мы свое временное безденежье. Я раньше положенного срока вышла на работу. Муж за время моего сидения с сыночком всю развернулся с рыбалкой. Вижу: доволен, при первой возможности идет или едет на рыбалку, иногда с уловом явится и скажет: «Вот! Поддержка к семейному бюджету!» Я одобряла — что же мне оставалось делать?

Пролетело лето, а муж — по-прежнему, дома — гостем. Жизнь шла без каких-либо перемен, без заметных событий, если не считать, что сынок уже пошел своими ножками, зубки белеют, вся печаль — мало с ним видимся: утром рано ташу его в ясельки, забираю домой поздно, иногда самого последнего — если уроки мои в расписании последними значатся, по существу — только спать. Иногда заведу с мужем разговор, что надо бы с мальчишкой больше заниматься, что на горшок не всегда просится, почти не умеет самостоятельно есть, ложкой пользоваться — поест ли, неизвестно, обольется же весь; что плохо засыпает, только на руках...

— Как приучила, так и засыпает, — отвечивал мне тогда муж. — И вообще, — сказал, — мы, как и многие, не умеем воспитывать своих детей. Традиции в этом деле исчезают, почти уже исчезли, а собственного ума у нас на это не хватает... — И еще заявил: — Я не удивлюсь, когда ты начнешь (в смысле воспитания ребенка) действовать по своим педагогическим правилам и меркам, часто ничемным... — Заметив мое молчаливое возмущение, чуть сменил тон: — Ты видишь, я спокойно говорю о том, что есть и как я это понимаю. Ты — мать, и главное в воспитании ребенка зависит от тебя. Меня же, — подвел он итог нашему разговору, — если откровенно, то на данный период более всего волнует, радует и огорчает только то, что связано с рыбалкой...

После этого признания у нас была «неделя молчания», затянущаяся неделя, изматывающая нервы, когда ничто не в радость. Но у нас был сынок — такое милое, ласковое солнышко, ради которого сделаешь все, что можешь, даже больше, пойдешь на что угодно. Я первая пошла на мировую. Хотя поему на мировую? Мы же не ругались, не скандалили, просто меня потрясло то, что двое начитанных, родных уже людей могут из-за быта, главное, из-за неправильного будто бы воспитания единственного ребенка потерять общий язык!..

Я решила, что из-за подобных его рассуждений и соответственного поведения с ума сходить все-таки не стоит, разрушать семью — тем более, это никогда не поздно совершить... В общем-то ведь все нормально, все типично и до унылости знакомо, как будто ты очень подробно об этом где-то читала.

И стала я, как говорится, играть в поддавки — старалась не обращать внимания на его поведение, делать вид, что все в порядке. По-прежнему вечерами на два дня готовила обед, рано утром вела

сыночка в ясельки, а позже — в детский садик. Если уроки у меня были не с утра, то успевала постирать, убратся в квартире, пробежаться по магазинам, чтоб запастись продуктами, иногда удавалось зайти в парикмахерскую или даже в читалку. Если в расписании мои уроки стояли последними, звонила в садик, что приду за ребенком попозже. А сочинения проверяла и готовилась к урокам на следующий день, как правило, как уже привыкла, поздним вечером, иногда прихватив и ночь, — тяжело было, зато никто не мешал, не отрывал, спокойно и податливо делались мои «школьные» дела.

Возвращались мы с сыночком домой не торопясь: я везла его на санках и расспрашивала, как у него прошел день. Что ел, как спал, чем занимался, с кем дружит, с кем соролся или играл. То сам он вез санки, мы играли в снежки или я отвечала на его бесконечные «почему?». А уж кошки, а уж собаки! — все были наши.

Являлись домой усталые и счастливые.

Муж, открывая нам дверь, иногда сердился, будто бы волновался, что нас долго нет, иногда спокойно укладывался пораньше спать, особенно в канун выходных дней (в школе-то суббота — день рабочий, значит, и у сыночка — тоже), чтоб утром с ранней электричкой поехать на рыбалку.

Уложив сыночка спать, я собирала на стол, и иногда мы ужинали вместе, говорили недолго и не очень живо о том о сем. Увидев мою усталость, муж иногда признавался, что бывает, когда и его волнует не только рыбалка, но и другое, что он тоже понимает: жизнь — штука серьезная и непростая, что бывают и затруднительные обстоятельства. Но в таких случаях он себе не дает ходу в переживаниях, а ставит вопрос, так сказать, философски: «Можешь ты повлиять на ход событий? Нет. Значит, и волноваться не стоит, пусть идет, как идет».

Если я чувствовала, что муж расположен к разговору, приятному его уму и сердцу, что он долго ждал благодарного слушателя, про себя надеялась, что речь пойдет не только о рыбалке — сколько можно?! — но и о делах иных, житейских, отодвигала посуду, брала в руки вязку и усаживалась поудобней.

Обычно муж начинал свой разговор все-таки с того, что ему близко и дорого, с рыбалки.

— Ты знаешь, мне доставляет удовольствие не только рыбалка, но и подготовка к ней... — Лицо его делалось одухотворенным, голос тише, глаза мечтательней, и весь он в этот момент был какой-то уютный, доверительный, спокойный. — Мне нравится изготавливать снасти, даже разглядывать удила, блесны и мушки, мной сделанные. На это ты, надеюсь, не раз обращала свое внимание? — вопросительно смотрел на меня и открывал рыбацкий ящичек со своими сокровищами.

«Еще бы!» — мысленно соглашалась я.

Много раз с интересом, даже с восхищением наблюдала я за его прямо-таки ювелирной работой — изготовлением мушек. Помню, принес он как-то с почты маленькую бандерольку, положил на край стола и, пока мыл руки, пока ужинал, все поглядывал на нее. Затем неторопливо, хотя и сгорал от нетерпения скорее увидеть содержимое, распечатал. В бандероли оказался лоскут медвежьей шкуры с ладонь величиной и небольшие концы разноцветно-ярких шерстяных ниток. Как он ликовал, разглядывая все это, как я старалась понять и разделить его восторг! Поняла позже, когда увидела его за делом, как он сосредоточенно и терпеливо выбирал для мушки на хариуса крючок, нужную, самую подходящую нитку, как тщательно укладывал ворсинки медвежьей шкуры, а затем нитку, виток за витком...

«Да он же творческий человек!» — изумилась я тогда приятно, еще не ведая беды...

А он, муж, почувствовав мою заинтересованность, стал мне популярно объяснять:

— Этого медведя, — он любовно подержал на ладони клочок шкуры, — господь бог специально создал для изготовления мушек! И чтоб тебе было понятно — далеко не каждый медведь годится на мушки. В этом отношении есть совершенно бесполезные медведи. Ты, может быть, видела медвежью шкуру в краеведческом музее — кто-то облагодетельствовал! Мы, харюзятники, когда узнали о ней, специально ходили в это культурное заведение, чтобы украсть оную, по крайней мере хотя бы обкорнать ее. Но преступление не совершилось, и не потому, что у нас решимости не хватало, а потому, что того медведя господь предназначал не для изготовления мушек, а для каких-то других, нам неизвестных целей.

Я слушала не без интереса, но и, конечно же, надеялась, ждала, когда выговорится, а потом помечтает, поговорит о сыне.

Нет, ни тогда, ни после, когда появился сынок, и позже, когда он уже подрастал, ничего не стронулось в муже с места ни в мышлении, ни в поведении. Все тот же образ жизни: работа, рыбалка, детская техническая станция, где собирався, как на токовище, такие же рыбаки и специалисты, как и мой муж, и проводили там целые вечера. И муж ни разу, ну, хотя бы для приличия, ради меня, а больше ради сыночка, не поговорил, если уж не помечтал, что вот напарник растет или помощник — как в таких случаях подходящей выразиться. Будто бы его, сына, и не было вовсе. Нет, неверно это, что будто его вовсе не было — сынок — живой же человек — и плакал, и капризничал, и болел, и в шалости пускался, беспокоил так или иначе. Но не волновал, не интересовал, не будил в нем отцовские чувства — страсть к рыбалке была сильнее.

Из-за этого я страдала, и, естественно, круг радости для меня постепенно, но очень ощутимо сужался. Но страдала я молча, про себя. А позже поняла окончательно: как далеко зашло у меня душевное разведение с человеком, который всего лишь несколько лет назад так горячо клялся мне в любви своей, вечной и неизменной. И тут же припомнилось: до замужества, в молодости, особенно в годы студенчества, мне не раз и не два признавались в любви молодые люди; влюбленные даже стояли на коленях передо мной и клялись в своих чувствах, почти в точности повторяя один другого: «Что бы я делал, если б не встретил тебя?! Как бы жил?..» И позже: «Я умру, если ты не полюбишь меня, не ответишь взаимностью, если не станешь моей женой...»

Никто из тех, кто обещал умереть от любви ко мне, не умер. Не умерла и я, любя без взаимности — случилось и такое, как же без этого?! Некоторые из бывших влюбленных, знаю, поженились, обзавелись семьями, некоторые уж и разжились...

Душевное мое разведение зашло так далеко, что однажды я собственного сыночка чуть было не оставила сиротой, когда поняла, что у нас может появиться на свет второе дитя, которое при наших с мужем взаимоотношениях не познает счастливого, радостного детства, что будет оно дитя нежеланное... И пошла я в больницу. Оперировал меня молодой врач, дежуривший в ту ночь, как оказалось, шестикурсник медицинского института и мой бывший ученик!.. Надо ли говорить, какой стыд, какой позор, какую обиду пережила я тогда, не говоря уж о нечеловеческих страданиях... Врагу не пожелаю!

Вернувшись домой, первое, что я услышала, — это возмущенные жалобы мужа на сыночка, что он,

сынок, добрался до отцовского сундучка-шарманки, «разобрал» все снасти, все порастаскал, спутал... А сынок вцепился в меня, в глаза виновато заглядывает и лепечет-оправдывается, что он только поиграл палинными игрушечками... и все испуганно на отца озирается.

Сжалось тогда мое сердце, и я впервые в жизни тяжело переболела нервным потрясением — комплекс душевных переживаний, потому что к этому еще справедливо добавилась вина, грех невольный, что отныне я еще и детоубийца...

Болела тогда больше недели, лежала дома, и сынок был на глазах, не в садике — так хотелось побыть вместе, потом же опять начнется все сначала: садик, работа, домашние дела... Ко мне забегали учительницы, и как окажется у которой из подруг «окошко» между уроками, та и прибежит, попроведает, иногда в буфете пельменей, котлет, молока купит, принесет, с сыночком с полчасика на улице погуляет, поболтаем, чаю попьем... Многие из них, пожалуй, большинство, жили той жизнью, которая ожидала и меня, — матерями-одиночками. Я благодарна им была за то, что они не солили мне на рану, не вели душеспасительных разговоров. Может, потому, что успели привыкнуть к своему положению и воспринимали свою жизнь как нормальную. Как бы там ни было — все равно им спасибо! Однако после их ухода я много раз плакала в подушку оттого, что было мне очень горестно и больно. Думала над тем, как у всех по-разному складывается жизнь, как часто люди не понимают один другого... Пыталась понять: когда же мой муж успел так «одичать»? Давно ничего не читал, вообще забросил книги, растерял и друзей — рыбаки не в счет, единственно помешался на рыбалке... И тут же вспоминался тот веселый рыбак и охотник, двадцать лет проживший на Сахалине, в самой глуши и не одичавший.

А сыночек, как звоночек, рос веселый, смывленный, ласковый, играет, бывало, игрушками, особенно машинками, и до того иной раз набивается — охрипнет.

Все тогда обошлось, и вышли мы с сынком на работу: он — в садик, я — в школу. Муж, видимо, почувствовал наш с сыном «союз», для начала повозникнул: то неладно, другое нехорошо — «то суп жидок, то жемчуг мелок...», а я сосчитаю до ста, чтоб не сорваться, не хотела, чтоб сынок слушал, как мы с отцом отношения выясняем, главным образом из-за него сдерживалась.

Но однажды, когда муж грубо, оскорбительно высказавшись, уехал на рыбалку, я собрала его вещи в один чемодан, одежду в другой... Жду, когда вернется, боюсь раздумать, настраиваю себя соответственно... Сыночка увела в садик, на первомайский утренник, и попросила учительницу, с которой сдружилась, чтоб взяла его к себе после утренника, вечером зайду за ним...

Выставила я тогда своего супруга из дома вместе с имуществом и с уловом. Навсегда. Терпение мое кончилось. Не тихо-мирно, конечно, пошумели все-таки, но и «разбежались», как теперь говорят. Но на этом дело не кончилось, муж мой затеял тяжбу по разделу имущества, вплоть до зеркала. То зеркало меня и доконало. И пошла я в юридическую консультацию, там долго объяснять не пришлось: юристам подобные истории — обычная работа. Уплатила пошлину за вызов представителя или агента — так у них, кажется, тот человек называется. Он привычно осмотрел наше небогатое имущество, определил стоимость — все в основном в этом городе покупалось, местное, так сказать, — и выдал на то официальное заключение. Я разделила сумму пополам, не на

Личность писателя всегда привлекает читателей, свидетельством тому — почта журнала, поэтому редакция попросила представить читателям автора рассказа «Надежда горькая, как дым» близкого ей человека — В. П. Астафьева.

Мария Семеновна Корякина-Астафьева родилась в 1920 году в городе Чусовом на Урале.

Отец ее Семен Агафонович и мать Пелагея Андреевна — выходцы из вятских крестьян. Отец долгое время работал на станции Чусовская сцепщиком и приработывал починкой обуви на дому, так как семья была большая — девять детей, старики, бедные родичи, всегда прибывавшие к приветливому дому Корякиных.

Человек крупный, молчаливый и даже застенчивый, Семен Агафонович имел малую грамоту, но обладал такой внутренней культурой, таким человеколюбивым сердцем, что его хватало на детей, на всех страждущих, ждущих тепла и приюта, и на меня, на строптивного зятя, тоже хватало. За жизнь свою Семен Агафонович не сказал никогда ни одного ругательного слова, кроме загадочного, вятским только понятного «некашной», никогда не ударил никого из детей и вообще не тронул пальцем ни одного доброго человека. Лишь однажды пришел он с работы с разбитым сигнальным фонарем: шайка каких-то подгулявших молодцов пристала к смертельно усталому на тяжелой работе человеку, и он их, по его выражению, «ошлентил» тем фонарем.

Ребята, мать и отец трудились дни и ночи, стяжили одеяла, ткали половики, шили, починяли, справляли корову, набирали на зиму ягод, грибов, пилили дрова, сажали и убирали в огороде, в большом огороде, с которого не раз уносило землю вместе с урожаем, так как дом и усадьба располагались на западном склоне Урала. Здесь заканчивается движение течения Гольфстрим и всегда «вертит», по выражению чусовлян. Пока гроза и ливень не обойдут городок четыре раза с четырех сторон, не перебыют в нем окна градом, не перевернут в нем все вверх тормашкой — не отступятся.

Много времени провели дети Корякиных в очередях за хлебом и продуктами, ставя химическим карандашом крестики на ладонях, много познали бед и лишений, но жили дружно, все дети учились прилежно и хорошо.

Самая маленькая, в мать ростиком, Мария, в семье Миля, левша от рождения, училась прилежнее и лучше всех. У нее были редкостные по тем временам крестная и крестный — Серафима Андреевна и Алексей Ефимович Ходыревы, она — конторская служащая на железной дороге, он — молодой инженер. Когда этим людям предложили окрестить шестого в семье Корякиных ребенка, они потребовали, чтоб имя новорожденной было дано городское и модное — Людмила. Но выпивший брашники-медовухи по случаю появления еще одного младенца счастливый отец на пути в церковь запамятовал мудрое имя и нарек дочку, как потом оказалось, самую любимую и даровитую в семье, святым именем — Мария.



Мария и Виктор АСТАФЬЕВЫ, г. Чусовой. 1947 год.

троих, а именно пополам, взяла ссуду в школьной кассе взаимопомощи и в присутствии учительницы — моей подруги — да соседа по лестничной площадке под расписку отдала мужу его долю... Господи! До чего же унизительное это дело, как вспомню...

Позже оформила и официальный отказ от алиментов, и, как говорится, без радости была любовь, разлука будет без печали... Может, у кого-то и так, и без печали. А я в недоумении: как быть с тем, что сынок мой растет без отца, хотя тот живой и здоровый? Да и самой себя жалко...

Иногда думала: если бы изменил, к другой ушел — может, легче было бы? Хотя едва ли... Первое время как бы утешала сама себя, что не мы первые, не мы последние... Распалась семья. Произошла семейная катастрофа — какие в общем-то банальные слова, но как же много за ними стоит!

А в мире все по-прежнему. Снова наступила весна, распустились клейкие листочки, зацвели цветы, птицы вывели птенцов, залетали, запели, солнце светит, кругом люди живут...

«Ничего! Будем и мы с сыночком жить», — решила я тогда для себя.

И действительно, жизнь пошла-покатилась. Правда, иногда мне казалось, что жизнь моя проходит как бы в поезде, когда понимаешь, что едешь не в ту сторону, не туда, куда надо, не к тому, кого любишь, не туда, где ждут... И повернуть назад невозможно... Но я знала, что нигде нас не ждут, и спустя время прошло и это, и все вставало как бы на свои места.

Все, что бывает с нами, не проходит бесследно. Я давно не читаю, как бывало, ни Блока, ни Есенина, я даже многое забыла. Но состояние души все-таки во многом остается прежним... под слоем пережитого...

Сынок мой подросток, и я с ним, как давно, в годы моей молодости, стала ездить куда глаза глядят, как позволяют средства — тем самым как бы восполняла в его детстве не один уж, а два «прорана»: что природу плохо знает — живем мы в городе, и еще — что растет без отца. Одно лето мы провели на Телецком озере, наверно, самом красивом не только на Алтае, но и в России. В другой раз ездили в Таджикистан, по турпутевке, там от души ели фрукты. Побывали в знаменитом заповеднике, расположенном в ущелье, насмотрелись на больших, с грубыми панцирями черепах, похожих на опрокинутые глиняные горшки; когда мы к ним приближались, они агрессивно шипели, выпуская неуклюжие лапы и маленькие головки; ногами слышали, как выли шакалы, а в вольере просыпалось, шевелилось оленье стадо, вскидывало рогатые головы; ловили форель, сидели у костра на берегу стремительной, по камням скачущей речки. Плавали на пароходе, сначала по Каме, до Астрахани, затем по Енисею до Дудинки. И всякий раз переполняли нас сильные, радостные впечатления.

Затем я болела, долго лежала в больнице. Когда «главные» страдания были уже позади, отступили, так сказать, мне сделалось очень тоскливо и беспокойно за сыночка, я не могла дожидаться вечера, когда он придет. Сын приходил, всегда аккуратно причесанный, в чистенькой рубашке, смущенный — в палате лежали десять женщин, и все его разглядывали. Я спрашивала, как у него дела в школе, что ел, много ли задали уроков. Приходила ли Анна Афанасьевна — моя подруга, учительница, которую я попросила навещать его, обед приготовить, постирать самое необходимое, она и продукты покупала, с уроками помогала, если случались затруднения.

Уйдет сынок — я в слезы: жалко его, жалко себя — очень одинокими тогда казались мне мы оба.

Брала у соседок по палате книги, читала, иногда включалась в палатные разговоры.

Дни тянулись медленно, ночи и того длиннее. В молодости, кажется, и снов никаких не видела, спала как убитая, а тут чего только не приснится! И сны-то видятся все больше «школьные». То снится, будто незнакомая учительница читает под кроватью книжку своим маленьким ученикам; то парнишка, из пятого или шестого класса по возрасту, что-то украл, и летом, когда кончатся занятия в школе, над ним должен состояться суд, а пока он исповедуется перед классом, мучительно так, слезами уливаясь, казнясь бесконечно... присмотрелась повнимательней и содрогнулась в ужасе: мальчишка тот — мой сынок!.. И опять до вечера не могу найти себе места.

Однажды, в воскресенье, убежала домой, до вечера. Все перестирала, уборку сделала, обед сварила, выкупалась. С сыночком наговорились. Он сбегал в киоск, купил кучу газет — читать там, в больнице. Вернулась в палату, уставшая до изнеможения, но и облегченная сердцем. Весь вечер читала газеты. Запомнилась статья «Семь заповедей» — как дожить до ста лет. Автор пишет-объясняет, за чем нужно следить, как есть, как пить, двигаться, расслабляться и так далее. Но все это возможно до выхода из больницы, то есть пока в больнице, а в жизни ни про одну из заповедей не вспомнишь — не до них делается.

При обходе утром врач спрашивает: «Вас не качает из стороны в сторону? Ходите — не падаете? Мужик бы на вашем месте давно концы отдал...» А я же еще и стирала, и уборкой занималась, чуть не ползком... Сыночек отговаривал, пытался помогать, но главное-то делала я! Врачу вроде бы в шутку показываю газету с «заповедями», что постаралась взять на вооружение. Он сунул газету в карман халата, мол, освобожусь, посмотрю. А после его ухода рассказала, как «отдохнула» дома, — одни ругают, другие сочувствуют. А я, чтоб поднять настроение им и себе тоже, припомнила и рассказала случай из своей жизни. Как-то выдалось такое время, когда передохнуть некогда, и дома, и в школе... залустила домашние дела, и когда прошла неделя, а постельного чистого белья не оказалось — я перевернула простыню на другую сторону, подушки — тоже, пододеяльник терпит. Вторая неделя прошла — опять некогда было заняться стиркой, стою, думаю, а муж подошел и вроде бы шутливо, но не без язвительности сказал, как отрубил: «Теперь на ребро поставь!..»

А вообще-то веселого мало, как посмотрю на своих соседок по палате — все они тут не от нечего делать, несть числа бабьим болезням и немочам.

Однажды, помню, выписали домой самую из нас молодую, двадцати двух лет — она уж в общем-то обречена, но не унывающая, всем настроение поднимала: попоет, попошутит, то рассказывает, как бывает, прихватит — по полгода не встает...

Лежала в палате еще одна очень интересная женщина. Двое маленьких детей у нее. Второй раз вышла замуж, говорит, из-за дров — иначе с ребятами не прожить — она из района была. С первым мужем жили в согласии. Мы, говорит, с ним были, как яблочко, только на две половинки разрезанное. Он угадывал мои мысли, я — его. Сирота был, очень хозяйственный, заботливый, работал на стройке, и я его очень жалела. Потом появились дружки, которые стали зазывать на выпивку, и он не устоял... Боролась с ним лаской. Помогало. Но на время... Женщина та много читала, много стихов знала наизусть — тут мы с ней сошлись, что называется. Рассказывала, что видит часто цветные сны и что все так осязаемо — самой страшно! А уж глазлива на себя была — страх!

Встанет утром и скажет: «Сегодня оживаю. Прекрасно себя чувствую». Через час-два катается по постели от боли. После операции она уже отходила от наркоза и трюм, которым предстояла подобная операция, убедительно говорила, что ничего страшного, что прекрасно она себя уже чувствует. И врачу на обходе сказала: «Все хорошо!» А к вечеру температура под сорок — и врачи забегали, капельницы снава, уколы...

Еще она рассказывала, как за неделю до смерти мужа пришла она с работы, а он спит на диване — вытянулся, такой статный, высокий... Сама она была невысокая, выщипанные черные волосы, черные глаза, губы чувственные, не полная, но плотненькая, на локтях ямочки. И я, говорит, подумала: если гроб, не дай бог, понадобится, какой большой надо будет заказывать... А через неделю он утонул. Пока не нашли, ждала, но чувствовала: нет его, нет... и только через полгода урелась о нем. А нового мужа, как ни стараюсь приручить, понять его душу, не могу, чужой, взгляд уплывает, и в душу заглянуть не могу...

После восьмого класса сынок подал заявления и документы в училище связи — сам так решил. Объяснил мне это так, что окончит его, получит специальность, будет работать, чтоб поправить наши материальные дела. Правда, они у нас не из рук вон плохи, живем, как большинство, но поскольку нам полюбилось путешествовать, то всю зиму откладывали понемногу на это удовольствие и потому жили скромнее многих знакомых, особенно он — скромнее большинства своих сверстников.

Решили, что этим летом никуда не поедем, сами провернем ремонт квартиры, а в свободное время будем ездить за грибами и за ягодами.

Но тут нас караулило такое горе, что я едва осталась жива. Сынок мой «заработал» три года. Теперь живет в Приморье. А я живу с ним рядом. Он — в казарме, я — на частной квартире. Ту квартиру сдала в аренду. Что будет с нами, думаю каждый день, и каждый день у меня уходит в тревоге...

Сын мой по-прежнему хороший, честный парень, не пьет, ни курит, не выражается скверно. Из-за своей скромности и честности попал под суд со своими товарищами, с которыми ему надлежало учиться, — не смог отказать взять на временное хранение какие-то инструменты или приборы.

Ну, а я? Как вспомню... Мне легче умереть было бы, чем все это пережить: и суд, и хождения, и поездки.

Во время наших свиданий он рассказывал мне, как в минуты мужичьих откровенных разговоров ему иной раз приходится слышать такое, что голова сама собою склоняется, чтобы спрятать глаза, чувствует, как краснеют у него уши, шея, лицо... А бригадир, видя это, похлопает его по плечу и скажет: «Ничего. Обыкай, парень...» А работа всегда тяжелая: копают землю, таскают ящики или мешки, если грузят судно. Ноги, говорит, как у загнанной лошади... А за спиной опять слышится подбадривающее: «Сынок! Держи марку!..»

На прощание сынок, как всегда, скажет: — До свидания, мама. Потерпи... Не хворай. — И через силу крепясь, невесело добавит: — Словом, держи марку, мама... Скоро мы с тобой опять заживем нормально...

Я тоже на это надеюсь. Эта надежда, горькая, как дым, и такая мне необходимая и дорогая — не знаю, с чем и сравнить, — не дает мне отчаяться, каждый день меня поднимает с постели, велит идти на работу, велит жить... Да еще часто приходят на память слова врача: «Баба — человек сильный, мужик давно бы отдал концы!..»

И вот ведь вятская упрямая порода: все, начиная с крестной и кончая матерью, сестрами, братьями, звали ее Милей, а Семен Агафонович за всю жизнь ни разу не сбился — Мария, и точка!

Окончив с отличием чувовскую школу, Мария-Миля отправилась в ближнее, самое доступное учебное заведение — Лысьвенский химический техникум, где из-за малорослости подвергалась строгому досмотру со стороны подруг, преподавателей и особенно крестной — Серафимы Андреевны, в ту пору жившей уже в городе Лысьве.

По окончании техникума молодой специалист начал работать лаборантом в доменном цехе Чусовского металлургического завода, где уже трудились два ее старших брата. Из той поры ей больше всего запомнилась авария на заводе — она видела, как пьющие факелом люди прыгали с высоты домен на землю, и заранее познала картины будущей, неотвратимо надвигающейся войны.

Окончив на заводе вечерние курсы медсестер, Мария Корякина с началом войны переводится работать в военный госпиталь, где ее избирают секретарем комсомольской организации. Когда в 1942 году девушки города Чусового, в том числе и из госпиталя, собрались добровольцами на фронт, одной из первых подала заявление Мария Корякина.

Она уходила на фронт пятой из семьи, и тут бы в самый раз написать, как строго, с достоинством провожали ее на войну, какие бодрые, патристические слова ей говорили отец и мать, но ничего этого не было. Убитая горем, мать лежала с сердечным приступом за печкой, и нескончаемые уже слезы заливали ее лицо, а отец, дрожащими

руками сучивший дратву для починки валенок, угрюмо сказал: «Поди да полежи ночь в огородной борозде (дело было в середине ноября), тогда и узнаешь, что такое война. Там не ночь, не две, там все время в окопах будешь на холоду да на голоду».

Война жестоко обошлась с этой доброй трудовой семьей — ополовинила ее на фронте и в послевоенные годы все выхватывала и выхватывала из рядов ее стойких бойцов и честных тружеников. Осенью 1986 года в Лысьве умер последний брат Марии Семеновны, Сергей Семенович, бывший пехотный капитан, многожды орденносец. Потерявший на войне глаз, с поврежденным позвоночником, он прожил не просто трудную, но немилосердно тяжкую жизнь.

Я встретился с Марией Семеновной в нестроевой части, после госпиталя, на Украине. Тут у нее было еще одно имя — Маша, которым нарекли ее военные подруги. Время было бурное, только что окончилась война, все куда-то торопились, шли, ехали, влюблялись, женились, и мы в этой суматохе как-то незаметно «сошлись» и поехали жить на Урал.

Нашу послевоенную жизнь в малые строчки не уложись — не пожелаю никому такой жизни. Думаю, что я со своей детдомовской бесшабашностью, психованной, контуженной головой и подорванным здоровьем сломалась бы, как сломалась в ту пору немало моих братьев-фронтовиков, если б не было рядом маленькой женщины, на плечо которой я как оперся в те далекие годы, так до сих пор, сорок с лишним лет, и не отпускаю, хотя и хрустят порой кости от тяжести прожитых лет у моей

незаменимой помощницы и спутницы. Ох, какая это нелегкая доля — быть женой современного писателя! Сколько нужды надо было пережить, сколько бед выдерживать, сколько силы требовалось, чтоб норов сибирский у мужа укротить да и себя не потерять при этом. Вырастив двух детей, помогать растить трех внуков, как и ее любимый отец, делаясь сердцем и куском хлеба с теми, кто в этом нуждается. Мария Семеновна, или Маня, как я ее зову по-сибирски, не одичала, не опустилась от нужды и невзгод, не утратила приветливости, неистойвой жажды жизни, неудержимого трудолюбия, и, правая хозяйские дела, взяв на себя обязанности машинистки, почтаря и многие, многие обязанности, в том числе и общественные, она незаметно для меня стала писательницей и продолжает, несмотря на подорванное здоровье, жить очень напряженной и насыщенной творческой жизнью, за которую я при моей занятости часто не успеваю уследить. Книги Марии Семеновны «Отец», «Пешком с войны», «Анфиса», «Шум далеких поездов» издавались в Перми, Свердловске, Москве.

Я понимаю, сколько насмешек, нареканий навлекла на себя этим, наверно, не совсем обычным, редкостным в наше скупое на откровения время вступлением у недоброжелателей и просто злых людей. Но мы за свою долгую жизнь навдальсь и натерпелись с женою всякого. Всем, кому захочется потешиться над этой заметкой, я к месту и в назидание повторю слова из книги русского мудреца Владимира Дала: «Не у всякого жена Мария, а кому бог даст».

Фото Владимира ВОЛКОВА и Владимира ВЯТКИНА

Леонид ПЛЕШАКОВ

КРАЙ ЗЕМЛИ

Если взглянуть на карту полуострова Таймыр, то на самой западной оконечности его нетрудно найти небольшую точку с названием Диксон. Так называется небольшой, площадью всего в 25 квадратных километров, остров, так называется и поселок городского типа, лежащий уже на материке, всего в полутора километрах от острова. Могучий Енисей заканчивает здесь свой четырехтысячекилометровый бег, вынося через Енисейский залив в Карское море воды, собранные с огромной площади в центре Сибири. Великая река делит территорию страны примерно на две равные части. Если исходить из этого факта, а тем более если учесть, что и к северу, и к востоку, и к западу отсюда, уже в Ледовитом океане, лежат острова и целые архипелаги, то Диксон вряд ли можно считать краем Земли.

Однако это чистая формальность. Стоит, выйдя из самолета, ступить на грунт в Диксонском аэропорту, сразу понимаешь, что попал на Крайний Север. Дело даже не в том, что до ближайших городов, Норильска и Дудинки, целых два часа лету. Дело в особом ощущении, которое испытываешь тут с первого же шага. Как назвать это ощущение? Может быть, дыханием Арктики?

Даже в самый разгар здешнего лета, когда солнце и в полночь висит высоко над горизонтом, о Севере напомнит нескончаемая череда льдин. Здешняя тундра, если на мгновение забыть, напоминает мягкими очертаниями чуть всхолмленные луга средней полосы. Зелено, спокойно. Однако стоит присмотреться чуть-чуть внимательнее, и сразу возвращаешься в реальный мир. Пожалуй, нигде, как здесь, в тундре, природа не торопится жить с такой скоростью. За короткие недели не особо устойчивого северного тепла она должна успеть сделать все, на что в более умеренных широтах отпущены месяцы: дать жизнь новым поколениям птиц, вырастить их, поставить на крыло, запасти энергией перед перелетом в дальние южные края. Эту спешку природы замечаешь, даже не особенно стараясь. Вот по берегу крошечного ручейка всего в двух-трех метрах от твоих ног деловито вышагивает семейство куличков. Впере-



ди — мама, за ней — шесть пестрых пушистых комочков двухдневного возраста. Через каждые три-четыре шага мать издает монотонный крик, и детеныши, как эхо, тут же отвечают ей. Вся семейка предельно деловита и сосредоточенна и не пропускает ни одного комарика или личинки, встречающихся на пути. Занятые своим делом, они не обращают никакого внимания на человека: нужно побольше есть, быстрее вырастить — и в путь.

А через несколько шагов на голову неожиданно пикирует бесстрашный поморник. Причина рядом: два пушистых, размером с голубя птенца хорошо выделяются своим дымчатым цветом на ярко-зеленом ковре тундры. Пара полярных сов облюбовала под наблюдательный пункт каменную осыпь на вершине холма. По низине, над самой водой проносятся вспугнутые утки.

И только к ночи жизнь тундры обретает покой. Правда, по-прежнему светло, как и днем. Только исчезают привычные звуки. Тундра засыпает под ярким, не знающим отдыха солнцем.

Мой новый знакомый, техник аэропорта, завешивает окна темной плотной бумагой, которая днем сворачивается в аккуратный рулончик на карнизе.

— За три года никак не привыкну спать при солнце, — объясняет мне.

К здешней бесконечной, многомесячной зиме он тоже не может привыкнуть. Над его кроватью картонный плакатик:

*На Севере Дальнем,
На Севере Крайнем
Душистый миндаль
Не цветет!*

Тут и впрямь затоскуешь по теплу и солнцу в четырехмесячную полярную ночь.

И все-таки край Земли, Диксон, можно в равной степени считать и центром Земли. Разумеется, в соответствии с масштабами Севера. Так уж определено ему судьбой — встать на перекрестке дорог в этом суровом краю. Идут ли суда по Енисею вниз, в Северный Ледовитый океан, с сибирским лесом и норильским металлом, поднимаются ли вверх по реке к причалам Дудинки, Игарки с машинами, оборудованием, продовольствием для северных городов и поселков, пробиваются ли караваны с запада на восток и с востока на запад Северным морским путем, летят ли самолеты с «материка» на Хатангу, в Тикси, на мыс Шмидта, Челюскин, на очередной «СП» или уходят на ледовую разведку куда-то далеко-далеко, чуть ли не на самую макушку Земли, — никому из них не миновать Диксона. Одним тут нужно сдать часть груза, другим — забункероваться топливом, переждать непогоду, просто отдохнуть. И всем, буквально всем, — получить свежие данные метеосводок. Потому что без них в Арктике — никуда.

И Диксон обслуживает всех. Он нужен всем. А потому и растет, как и положено любому перспективному населенному пункту. В последние годы здесь выросло четыре пятиэтажных сорокавосьмиквартирных дома! Ну чем не поселок городского типа: целых четыре пятиэтажки? А еще стараниями энтузиастов в самом центре посажены несколько елок и лиственниц, привезенных сюда самолетом! А еще...

Знаете, какой подарок с «материка» тут ценится больше всего? Букет цветов, который приходится беречь в дороге от холода под стеганой курткой.

Что тут удивляться: край Земли.

«Сегодня по Цельсию всего минус тридцать пять».

Новорожденные.

Без техники на Севере — никуда.

Встреча.



Новые стихи известной советской поэтессы продолжают ее цикл «Из ленинградской тетради», опубликованный в «Смене» в 1985 году.



БЕЛА АХИМАДУНИНА СВЕТИЛЬНИК

Театр

В. Высоцкому

Эта смерть не моя есть ущерб и зачет жизни кровно-моей, лбом упершейся в стену. Но когда свои лампы Театр возожжет и погасит—Трагедия выйдет на сцену. Вдруг не поздно сокрыться в заочность кулис? Не пойду! Спрячу голову в бархатной щели. Обреченных капризников тщетный каприз—вжаться,

вжиться в укромность—вина неужели? Дайте выжить. Чрезмерен сей скорбный сюжет. Я не помню из роли ни жеста, ни слова. Но смеется суфлер, вседержитель судеб: говори: все я помню, я здесь, я готова. Говорю: я готова. Я помню. Я здесь. Суц и слышим тот голос, что мне подыграет. Средь безумья, нет, средь слабоумья злодейств здраво мыслит один: умирающий Гамлет. Донесется вослед: не с ума ли сошел Тот, кто жизнь возлюбил

да забыл про живучесть.

Дай, Театр, доиграть благородный сюжет, бледнолицый партер повергающий в ужас.

В мотеле на берегу Финского залива

Всё шхеры, фиорды, ущельных существ оттуда пригляд, куда живые не ходят. Скитания омутно-леший сюжет, остуда и оторопь, хвоя и холод.

Зажжен и не гаснет светильник сырой. То—Гамсуна пагуба и поволока. С налету и смолоду прянешь в силок—не вырвешь души из его приворота.

Болотный огонь одолел, опалил. Что—белая ночь? Это имя обманно. Так назван условно маньяк-аноним, чьим бредням моя приглянулась бумага.

Он рыщет и свищет, и виснут усы, и девушке с кухни понятны едва ли его бормотанья: Столь грешные сны страшны или сладостны фрекен Эдварде?

О, фрекен Эдварда, какая тоска—над вечно кипящей геенной отвара помешивать волны, клубить облака—какая отвага, о, фрекен Эдварда!

И девушка с кухни страшится и ждет. Он сгинул в чащобе—туда и дорога. Но огненной порчей смущает и жжет наитие прохладного глаза дурного.

Я знаю! Сама я гоняюсь в лесах за лаем собаки, за гильзой пустою, за смехом презренья в отравных устах, за гибелью сердца, за странной мечтою.

И слышится в сырости мха и хвоща: — Как скушно! Ничто не однажды, всё—дважды иль многожды. Ждет не хлыста, а хлыща звериная душенька фрекен Эдварды.

Все фрекен Эдварды во веки веков бледны от белил захоластной гордыни. Подале от них и от их муженьков! Обнимемся, пес, мы свободны отныне.

И—хлыст оставляет рубец на руке. Пес уши уставил в мой шаг осторожный.

— Смотри,—говорю,—я хожу налегке: лишь посох, да плащ, да сапог остроносый.

И мне, и тебе, белонощный собрат, двоюродны люди и ровня—наяды. Как мы—так никто не глядит на собак. Мы встретились—и разминемся навряд ли.

Так дивные дива в лесу завелись. Народ собирался и медлил с облавой—до разрешенья ответственных лиц покончить хотя бы с бездомной собакой.

С утра начинает судачить табль-д-от о призраках трех, о кострах их наскальных. И девушка с кухни кофейник прольет и слепо, и тупо взирает на скатерть.

Двоится мой след на росистом крыльце. Гость-почерк плетет письмена предо мною. И в новой, чужой, за-озерной красе лицо провинилось пред явью дневною.

Всё чужь, чешуя, серебристая чудь. И девушке с кухни до страсти охота и страшно—крысиного яства чуть-чуть добавить в унылое зелье компота.

Взамен элегий—шуточки, сарказмы. Слог не по мне, и всё здесь не по мне. Душа и местность не живут в согласье. Что делаю я в этой стороне?

Как что? Очнись! Ты родом не из Финнов, не из дельфинов. О, язык-болтун!



Зачем дельфинов помянул безвинных,
в чей ум при мне вникал глупец Батум?

Прости, прости, упасший Ариона,
да и меня — летящую во сне
во мгле Красногвардейского района
в первопрестольном городе Москве.

Вот, объясняю, родом я откуда.
Но сброд мотеля смотрит на меня
так, словно упомянутое чудо —
и впрямь моя недалняя родня.

Немудрено: туристы да прислуга,
и развлеченья их не велики.
А тут — волною о скалу плеснуло:
в диковинку на суше плавники.

Запретный блеск чужого ширпотреб
приелся пресным лицам россиян.
— Забудь все это! — кроткого привета
раздался всплеск, и образ просиял.

Отбор довел до совершенства лица:
лишь рознь пороков оживляет их.
— Забудь! Оставь! — упрасивал и длился
печальный звук, но изнемог и стих.

Я шла на зов — бар по пути проведая.
Вдруг как-то мой возвысился удел.
Зрачком Петра я глянула на шведов.
За стойкой плут — и тот похолодел.

Он — сложно-скрытен, в меру раболепен,
причастен тайне, не известной нам.
— Оставь! Иди! — опять забрызжил лепет. —
Иду. Но как прозрачно-скупчен хам.

Как беззащитно уязвлен обидой.
— Иди! — неслось. — Скорей иди сюда!
Вот этих, с тем, что в них, автомобилей
напрасно жаждать — лютая судьба.

Мне белоснежных шведов стало жалко:
смущен, повержен, ранен в ногу Карл.
Вдруг — тишина. Но я уже бежала:
окликни вновь, коль прежде окликал!

Вчера писала я, что на запоре
к заливу дверь. Слух этот справедлив,
но лишь отчасти: есть дыра в заборе.
— Не стой, как пень, — мне указал залив.

Я засмеялась: к своему имению
финн не пролез. А я прошла. Вдали,
за длительной серебряною мелью,
стояло небо, плыли корабли.

Я шла водой и слышала взаимность
воды, судьбы, туманных берегов.
И, как Петрова вспылчивая милость,
явился и сокрылся Петергоф.

С тех пор меня не выдывала суша.
Воспетый плут вернуться завлекал.
В мотеле всем народам стало скушно,
но полегчало мокрому плавникам.

Чудовищный и призрачный курорт —
услуга для заезжих чужестранцев.
Их привлекает пристальный урод
(знать, больше нет благообразных старцев),
и так порочен этот вождь ворот,
что страшно за рассеянных скитальцев.
Простят ли мне Кирилл и Ферапонт,
что числилась
я в списке постояльцев?

Я — не виновна. Произволен блат:
стихотворивы дивы «Интуриста».
Одни лишь финны,
гости финских блат,
не ощущают никакого риска,

когда красотка поднимает взгляд,
в котором хлад стоит и ад творится.
Но я не вхожу в этот хладный ад:
всегда моя потуплена зеница.

Вид из окна: сосна и «мерседес».
Пир под сосной мои пресытил уши.
Официант, рожденный для злодейств,
погрязнуть должен в мелочи и в чуши.

Отечество, ты приютилось здесь
подобострастно и как будто вчуже.
Но разнобой моих ночных сердец
всегда тебя подозревает в чуде.

Ни разу я не выходила прочь
из комнаты. И предается думе
прислуга (вся в накрапе зримых порч):
от бедности моей или от дури?

Пейзаж усилен тем, что вдвинут «порш»
в невидимые мне залив и дюны.
И, кроме мысли, никаких нет почт,
чтоб грусть моя достигла тети Дюни.

Чтоб городок Кириллов позабыть,
отправлюсь-ка проведать жизнь иную.
Дежурной взгляд не зряч, но остро-быстр.
О, я в сэк-бар всего лишь, не в пивную.

Ликуют финны. Рада я за них.
Как славно пьют, как весело одеты.
Пускай себе! Ведь это — их залив.
А я — подкидыш, сдуру взятый в дети.

С улыбкой собеседники следят: смотри,
коль слово лишнее проронишь.
Но не сидеть же при гостях в слезах?
Так осмелел, что пьет коньяк приемыш.

Финн спросил: where are you from, мадам?¹
Приятно поболтать с негоциантом.
— Оттуда я, где черт нас догадал
произрасти с умом, да и с талантом.

Он поражен: с талантом и умом?
И этих свойств моя не ценит фирма?
Не перейти ль мне в их торговый дом?
— Спасибо, нет, — благодарю я финна.

Мне повезло: никто не внял словам
того, чья слава множится и крепнет:
ни финн, ни бармен — гордый внук славян,
ну, а тунгусов не пускают в кемпинг.

Спасибо, нет, мне хорошо лишь здесь,
где зарасту бессмертной лебедою.
Кириллов же и ближний Белозерск
сокроются под вечною водою.

Что ж, тете Дюне — девяностый год, —
финн речь заводит об архитектуре, —
а правнуков ее большой народ
мечтает лишь о финском гарнитуре.

Тут я смеюсь. Мой собеседник рад.
Он говорит, что поставляет мебель
в столь знаменитый близлежащий град,
где прежде он за недосугом не был.

Когда б не он — кто бы наладил связь
бессвязных дум? Уж если жить в мотеле
причудливым — то лучше жить смеясь,
не то рехнуться можно в самом деле.

В сэк-баре — смех, толкучка, красота,
и я люблюсь финкой молодою:
уж так свежа (хоть несколько толста).
Я выхожу, иду к чужому дому.

И молят Ферапонтовы уста
над бывшей и грядущей юдолью:
«Земля была безвидна и пуста
и Божий дух носился над водою».

¹ Откуда вы родом?

Елка в больничном коридоре

В коридоре больничном поставили елку. Она
и сама смущена, что попала в обитель страданий.
В край окна моего ленинградская входит луна
и недолго стоит:

много окон и много стояний.

К той старухе, что бойко бедует на свете одна,
переходит луна, и доносится шорох стараний
утаить от соседок, от злого непрочного сна
нарушенья порядка,
оплошность запретных рыданий.

Всем больным стало хуже.
Но все же — канун Рождества.
Завтра кто-то дождется известий,
гостинцев, свиданий.
Жизнь со смертью — в соседях.
Каталка всегда не пуста —
лифт в ночи отскрипит
равномерность ее упаданий.

Вечно радуйся, Дево!
Младенца ты в ночь принесла.
Оснований других не оставлено для упований,
но они так важны, так огромны,
так несть им числа,
что процен и утешен
безвестный затворник подвальный.

Даже здесь, в коридоре, где елка —
причина для слез
(не хотели ее, да сестра заносить повелела),
сердце бьется и слушает,
и — раздалось, донеслось:
— Эй, очнитесь!
Взгляните — восходит Звезда Вифлеема.

Достоверно одно: воздыханье коровы в хлеву,
поспешанье волхвов, и неопытной матери локоть,
упасавший младенца с отметиной чудной во лбу.
Остальное — лишь вздор,
затянувшейся лжи мимолетность.

Я смотрела, как день занимался в десятом часу:
каплей был и блестел,
как бессмысленный черный фонарик, —
там, в окне и вонне. Но прислышалось общему сну:
в колокольчик на елке
названивал крошка звонарик.

Занимавшийся день был так слаб,
неумел, неказист.
Цвет — был меньше, чем розовый:
родом из робких, не резких.
Так на девичьей шее умеет мерцать аметист.
Все потупились,
глянув на кроткий и жалобный крестик.

А как стали вставать,
с неохотой глаза открывать, —
вдоль метели пронесся трамвай,
изнутри золотистый.
Все столпились у окон,
как дети: — Вот это трамвай!
Словно окунь, ушедший с крючка:
весь пятнистый, огнистый.

Сели завтракать, спорили, вскоре устали, легли.
Из окна вид таков, что невидимости Ленинграда
или невидали мне достанет для слез и любви.
— Вам не надо ль чего-нибудь?
— Нет, ничего нам не надо.

Мне пеняли давно, что мои сочиненья пусты.
Сочинитель пустот,
в коридоре смотрю на сограждан.
Матерь божия! Смилуйся! Сына о том же проси.
В день рожденья его
дай молиться и плакать о каждом!

Рисунок Николая СТЕПАНОВА



Фантазии на тему свободного времени и хорошего настроения.

Сергей МИКУЛИК

ЖАРНАВА

Смотрел у друзей-горнолыжников любительский фильм «Скованные одной цепью». Жанр определить затрудняюсь — то ли комедия, то ли фильм ужасов. С одной стороны, здесь кот Леопольд и Иван Васильевич, который никак не решится сменить профессию, с другой — горные вампиры и хозяин местного фотоателье «Гильотина». И даже баба-яга не в привычной ступе, а на горных лыжах.

Идея проведения подмосковного лыжного «горновала» (да-да, именно так официально называется праздник) возникла лет десять назад в горнолыжном клубе архитекторов.

— Маститые архитекторы осуществляли общее руководство, а на нас, в ту пору студентов Московского архитектурного института, была возло-

жена вся оформительская работа, — вспоминает не пропустивший ни одного «горновала» Алексей Печенин. — Старались придумать что-то неординарное, интересное для всех — детей и взрослых, новичков и асов горнолыжного спорта.

Чего-чего, а уж фантазии молодым архитекторам было не занимать. И тот, теперь уже давний, самый первый «спортивный шабаш, праздник души и тела» положил начало доброй традиции театрализованного закрытия горнолыжного сезона.

Что такое горы в нашем представлении? Памир, Кавказ, Карпаты, наконец. А холмы на подмосковной станции Турист, похожие на разогнутые подковы, — это разве горы? Но не дай вам бог сказать это вслух в компании московских горнолыжников, ведь именно здесь каждый из них раз и навсегда влюбился в снежные склоны. Именно сюда они исправно приезжают на электричке каждую субботу и воскресенье, ночуют у знакомых из окрестных деревень, а то и просто в пещерах, вырытых в снегу, с первыми лучами солнца забираются на облюбованную горку и, задыхаясь от восторга и собственного бесстрашия, бросаются вниз.

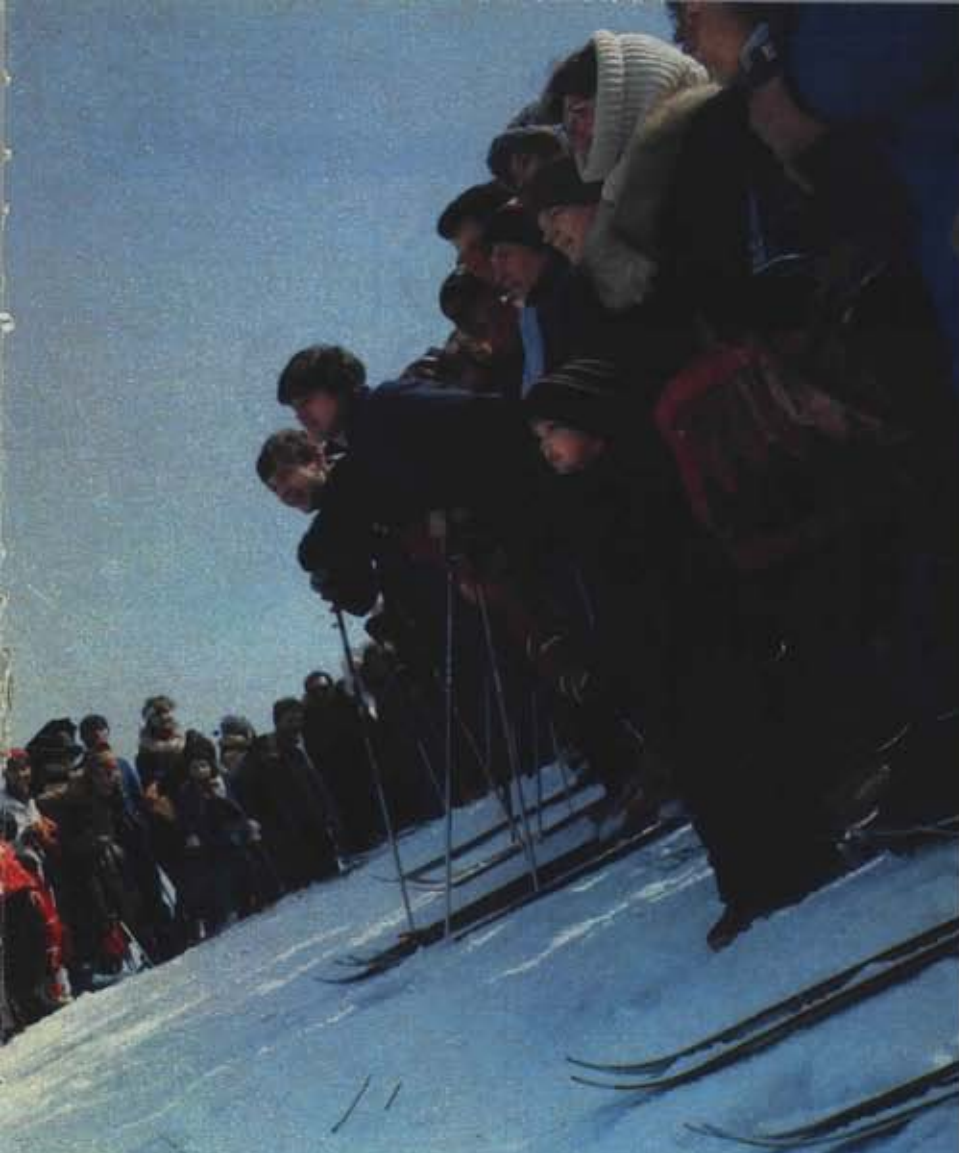
С каждым годом «горновал» собирает все больше приверженцев. И даже неумелые новички не чувствуют тут себя лишними: учиться падать — это тоже наука. А на асов посмотрите — тоже в снегу с головы до ног. У них, правда, сражение идет — «доноры» против «вампиров». Трасса и так у «доноров» жуткая — то подлезать под препятствия, то перепрыгивать их приходится, а тут еще «вампиры» за ноги хватают. Не всякий «донор» доедет до своей шоколадки на финише.

А как вам женский слалом «бабье лето»? С официальным объявлением, что победительницу «ждет большое будущее»... Впрочем, любая победительница променяла бы свою золотую деревянную медаль метрового диаметра на титул королевы костюмированного бала.

— У нас и «горнобал» необычен, — рассказывает перворазрядница психолог Ирина Скотникова. — Мало изобрести себе новый костюм, надо еще и подать его эффектно. Попробуйте-ка спуститься с горы «в тон костюму», да еще читая речитатив собственного сочинения.

А если вы явились впервые и не «при параде»? Не беда, экипировать-





ся можно и на месте — видите, на елке висят карнавальные очки? Нужно только разогнаться, съезжая с горки, удачно попасть на трамплин, сорвать очки в полете — и они ваши. А еще чуть повыше — маска красавицы. Вы ведь помните сказку о Сивке-Бурке...

Не помните — вам ее тут же расскажут. На маленькой горке, именуемой в просторечии «лягушатником», полным-полно сказочных персонажей. Кандидат филологических наук и начинающий горнолыжник Антон Кошкин приезжает сюда как в фольклорную экспедицию. Самый, наверное, популярный персонаж здесь — Кай, гонящийся на санях всевозможных фасонов. Только вот его мама, Снежная Королева, бросает на озорника совсем не строгие взгляды...

Пролетел лихой молодец через обрuch — добро пожаловать в буфет без монет. Он, правда, и так открыт для всех желающих, но кто же не пропустит без очереди гонца на лыжах-скороходах? Тому ведь надо еще успеть обежать большую гору — это кто там сказал «холм»?! — и оповестить народ о срывании всех и всяческих масок и коллективном уходе из большого спорта. До следующей зимы.

Инициаторы проведения «горновала» архитекторы недолго оставались в одиночестве — вскоре на помощь к ним пришел спортивный клуб Академии наук. Предложили содействие и многие другие коллективы физкультуры. В стороне остались лишь спорткомитет Москвы и столичная федерация горнолыжного спорта. От них помощи в устройстве подъемников или оборудовании склона никакой. Туристы, правда, милостей со стороны не ждут, действуют сами, но как бы пригодилась им такая поддержка.

Что удивительно — те неумехи, которые за компанию с приятелями пришли на первое представление и фотографировались в знаменитом ателье «Гильотина», облачась в

картонное туловище лихого слаломиста, теперь восхищают своим катанием новичков, пришедших им на смену. А те, добродушные, неуклюжие, напоминающие в своей скафандровой амуниции космонавтов, недоверчиво качают головами в ответ на рассказы старожилов. И не верят до тех пор, пока сами, судорожно оттолкнувшись палками, не скользнут с вершины, задышавшись, пока от страха.

А вам не хотелось бы сняться в таком фильме?

Неловкий с виду арлекин вдруг выдал на косогоре сальто. На лыжах! Это уже элемент фристайла — в буквальном переводе «свободного стиля». Лыжная акробатика оформилась в самостоятельный вид спорта в конце шестидесятых годов в Северной Америке. А спустя десять лет группа туристов привезла в Москву видовой фильм «Спирит». Что творили на экране лыжные трюкачи! Среди первых зрителей были москвичи-горнолыжники. Одного часа им хватило, чтобы заболеть фристайлом.

Где экспериментировать? Естественно, на склонах Туриста. На втором по счету «горновале» для показательного выступления аспиранта Московского авиационного института Сергея Шайбина освободили чуть не полсклона. Ему бы очень пошло одеяние мага-чародея — так заворожил всех на горе... Последователи нашлись тут же. Такие фигуры изобретали, что их и на батуте выполнить непросто. А здесь жесткий склон, рытвины, ухабы... Нападались, конечно же, вдоволь. Но в прошлом году, на первых официальных всесоюзных соревнованиях по фристайлу, проводившихся неподалеку от Туриста, в деревне Парамоново, чемпионом стал представитель ДСО «Спартак» тот же Сергей Шайбин, а его ученики заняли места вплотную к пьедесталу почета — вот куда привела лыжня, начавшаяся с экспромта.

В веселом горном карнавале участвуют сотни любителей лыжного спорта.



Зимняя феерия — праздник силы и ловкости.



Фото Сергея КИВРИНА и Евгения МИРАНСКОГО



ЛЮБОВЬ

наших дней

Татьяна БРАТКОВА

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА

Читаю письма, полученные редакцией в ответ на статью «Остальные не в счет» (№14 за 1986 г.), и раскладываю их в две стопочки, которые условно назвала для себя так: «за» и «против».

Разложила, просмотрела письма еще раз и обнаружила интересную закономерность.

Письма оказались как бы рассортированы по возрасту: в первой пачке — от читателей постарше, а во второй — от тех, кому нет еще и 20. И исключительно от девушек.

В письмах из первой пачки звучат озабоченность и неподдельная тревога по поводу того, что «подлинная любовь все более обесценивается» (Н. А., Ставрополь), что «женщины стали менее требовательны к мужчинам, а те, в свою очередь, к себе» (Лина Б., Баку), что «девочки в 16—17 лет ведут себя так, будто не начинают жизнь, а ловят последние крохи молодости» (Нина В., Саратов).

Многие читатели «из первой пачки» говорят о том, что нравственное состояние молодежи — это проблема не просто моральная, а социальная и, если угодно, государственная. «Любовь превращена в игру. Что же ставится на карту в этой игре? — пишет педагог Л. К. Шмелева из Киева. — Любовь, материнство, детство будущего человека, уважение к женщине, уважение к матери. Как видим, это категории совсем не личные. Моральный облик нашей молодежи — дело всего общества. Нужно бороться с моральной безответственностью всем миром — так же, как ведется сейчас борьба с пьянством. И в том, и в другом случае это война за наше будущее».

Зато из писем, попавших во вторую стопку, узнала, что автор статьи, то бишь я, с одной стороны, «унижает любовь, потому что призывает к расщепленности, а любовь безоглядна» (Н. Б., 17 лет, Кемерово), а с другой — ни много ни мало «перечеркивает все, чего добились женщины в результате эмансипации» (Ирина Ермолаева, 18 лет).

Как же понимает жизнь «эмансипированной женщины» Ирина? «Я мыслю нашу жизнь так, — пишет она. — Личная жизнь (духовная), жизнь в коллективе (работа) и половая жизнь». Любовь эмансипированной женщине, по мнению Ирины, очевидно, совершенно чужда: в самом деле, куда ее отнести при такой классификации?

К сожалению, Ирина не одинока. Много писем, в которых совсем еще юные девушки сновито оперируют понятиями «секс», «чувственность», «половая жизнь».

Что это, бравада или уже сложившаяся система ценностей, в которой старомодной любви просто нет места? Разъятыми оказываются две главные составляющие этого великого чувства: духовное и физическое влечение. При чем приоритет оставляется только за вторым...

Моей знакомой актрисе, выступающей с прекрасной программой лирических стихов, посвященных первой любви, в одном ПТУ, где учатся исключи-



тельно девочки, прислали записку: «Зачем любить, зачем страдать, ведь все пути ведут в кровать?» Страшновато, признаться, было смотреть на эти строчки, выведенные еще не устоявшимся, полудетским почерком.

Как достучаться до этих душ, которым, очевидно, просто смешны разговоры об уважении мужчины к женщине как необходимом условии подлинной любви?

«Эти особы признают только «фирменных» супермужчин в стиле Бельмондо, — пишет А. И. Щербатых из Кировской области. — У них в цене и почете не натуральные свойства души и сердца, а блистательные вспышки лихости и бахвальства. Все дешево, поверхностно, бездумно».

«Зря вы сокрушаетесь об этих деви-

цах, у которых понятие «девичья честь» вызывает только хохот, — вторит ему военнослужащий В. Д. — В случае «нежелательных последствий» они сбегают к врачу и сменяют партнера на более ловкого. Блаженны нищие духом — они не чувствуют себя ни оскорбленными, ни униженными».

Так ли это? Знаю случай, когда несколько девчонок-старшеклассниц зверски избили подругу, требуя, чтоб она уступила парню, который за ней «бегал». Их, уже утративших невинность, раздражало и оскорбляло то, что она «другая». Они инстинктивно чувствовали ее нравственное превосходство, и оно не давало им покоя. Им хотелось заставить ее опуститься до своего уровня.

Наверно, не так уж безмятежно на

душе у них, этих юных «сексуальных прагматиков».

Кажется, на противоположном полюсе находятся те, кто упрекает автора в «унижении любви». Однако если разобратся, то эти две крайности сходятся чрезвычайно близко. Если одни начисто отрицают любовь, вполне довольствуясь лишь физическим влечением, то другие любой вспыхнувший минутный интерес готовы провозгласить любовью.

«Я уверена, что Оксана действительно любила Сергея, — запальчиво утверждает юная читательница, — неужели Вы отрицаете любовь с первого взгляда?» «Разве желание мужчины не доказательство его любви?» — простодушно удивляется вторая.

Боюсь, мы, пишущие и говорящие о любви, виноваты перед этими девушками: уж слишком часто пользовались изящным эвфемизмом «любовь», имея в виду такие взаимоотношения, к которым никак не приложимо это высокое понятие.

«Любить надо, пока молода, — делится своими соображениями некая Татьяна из Киева. — После 20 придется думать о семье, о детях, о доме, а пока — именно о том, что так прекрасно, о самой любви».

Выходит, семья, муж, дети — это «вне любви»? А что же тогда любовь?

«Мы полюбили друг друга на танцах в Доме культуры...» Нет, это не Оксана М., чье письмо было опубликовано. На сей раз все обошлось благополучно, он проводил ее домой. С тех пор виделись еще два раза, целовались. «Он, кажется (!), учится на первом курсе». Такая любовь, что и поговорить-то толком некогда...

Вот еще одно «сногшибательное» признание: «Мы познакомились на дне рождения у подруги и после этого уже два раза встречались. Мы очень любим друг друга».

«Любим»... Удивительно легко обращаются девушки с этим словом. Прошли два раза по улице, потанцевали на вечерке, — ну, конечно, любовь, не меньше.

Чтобы не спутать ручеек с рекой, надо хотя бы приблизительно знать, как она выглядит. И тут лишний раз вспомнишь сетования на то, что сокращается в школах программа по литературе. А то, что остается?... Разве можно назвать то убогое сканение «по образам» школой нравственного воспитания, которой должна стать литература? Классическая литература, весь мировой опыт духовной жизни и страстей человеческих, самый могучий источник нравственного совершенствования личности, уходит из жизни молодежи.

Мне довелось как-то разговаривать в одной школе с десятиклассниками: «Анну Каренину» не читал никто, с «Дворянским гнездом» некоторые знакомы по кинофильму, имя Вертера ни у кого не пробудило никаких ассоциаций. Увы, многие молодые люди покидают школу, так и не научившись по-настоящему читать, не полюбив чтение.

Роль «властителя дум» перехватила эстрада. Поговорите со школьниками — они «выдают» из себя два-три стихотворения Пушкина, которые есть в

программе, но всю галиматью, которую чудовищными дозами регулярно скармливает им эстрада, отбарабанят наизусть. И главная беда от этого не та, что портится художественный вкус. Убогие, куцые, примитивные переживания декларируются в тысячах песенок не иначе как самая большая и настоящая любовь.

В общем-то, конечно, это вполне закономерно, эстрада, как говорится, эстрадово. И это было бы совсем не страшно, если бы выполняли эти песенки свою естественную функцию — танцевально-развлекательную. Но, к сожалению, значительная часть молодежи впитывает весь этот суррогат как откровение. Многие верят, что легкая интрижка, о которой поведал им певец, прихлывавая и пританцовывая, — это и есть любовь.

Оксана М. в своем письме пишет: «Трудно поверить, что полгода назад я была беззаботной хохотушкой, любила танцы, веселую компанию». А мне как раз в это поверить легко. Вот если бы она написала, что еще полгода назад любила засиживаться над книгой, спорить с друзьями о новых фильмах, спектаклях, бродить по улицам, думая о жизни, — вот тогда я была бы очень удивлена, что она так бездумно и беззаботно ринулась навстречу рискованному приключению. А танцы и веселая компания, прямо скажем, мало способствуют формированию личности. Да и неотрапизмность Сергея оказалась для нее не в каком-то поступке или умных речах, а в тех же песенках и шутках, которые, надо признать, не так уж много говорят о человеке.

И все-таки, наверно, нельзя не согласиться с Еленой из Киева, которая пишет: «Девушки обычно живут мечтами о любви и часто видят и слышат не то, что есть, а то, что хотят видеть и слышать. Так что часто их никто не обманывает, они обманывают себя сами».

Первая любовь... Сколько о ней написано стихов, сложено песен! Романтическая влюбленность, полудружба-полублюбовь, изумленное открытие целого мира прежде неведомых чувств — душа готовится к вступлению в новую, взрослую жизнь.

Но нормально ли это, когда девочки — именно девочки, их и девушками-то еще не назовешь, — живущие по всем законам подростковой жизни, вдруг какой-то частью, какой-то гранью прорываются во взрослую жизнь? В жизнь, к которой они морально совершенно не готовы.

Как бы ни гневались на меня авторы некоторых писем за попытку «переложить всю ответственность на женские плечи», я глубоко убеждена, что поспешные, случайные отношения губительны прежде всего для женской натуры. И не только потому, что женщина расплачивается за свою поспешность той ценой, которую не приходится платить мужчине. Ведь спрос с девушек действительно выше потому, что поведением женщин в первую очередь определяется общее нравственное состояние общества.

Безоглядность любви вовсе не в торопливости. Есть в редакционной почте письмо, прочитав которое, думаю, устыдятся все, кто попытался в своих письмах отстаивать «право любить, не раздумывая и не прикидывая, что из этого получится».

Была любовь, встречи, планы. И случилось несчастье. Действительно огромная, непоправимая беда. Парню на работе выжгло глаза. Он ослеп. А девушка выходит за него замуж. Родители против («Не для того тебя растили, чтоб нянькой ему всю жизнь была»), подруги отговаривают («Зачем тебе такой хомут; другого найдешь»), он сам гонит ее от себя («Не хочу портить тебе жизнь»). А у нее один ответ: «Люблю!»

А способна ли на такой поступок кто-то из сторонниц «безоглядной любви»?

Вот что пишет в редакцию А. П. Шалыпин: «Надо молодых раньше готовить к взрослой жизни, чтобы они, вступая в близкие отношения, чувствовали ответ-

ственность друг за друга на уровне взрослых».

Да, инстинкты поднимают голову рано. И не получается ли, что мы нередко идем на поводу у юных, стараясь как-то легализовать слишком ранние взрослые отношения? А надо со всей прямой сказать, что половая связь детей, одетых в школьную форму, — это ненормальность, порок, распущенность. Сейчас уже не продадут водку человеку, которому не исполнился 21 год, но как можно спокойно относиться к тому факту, что в гинекологических клиниках находят 16—17-летние девочки, забравшие туда «на три дня». «То, что было еще недавно позором, несчастьем, бесчестьем семьи, мы согласны признать сегодня мелкой житейской неприятностью», — пишет в своем письме А. Ф. Николаева. Думаю, многие читатели с ней не согласятся.

Вполне могу разделить сочувствие, желание помочь женщине под 30 и старше, родившей ребенка без мужа. Но, скажу откровенно, мать-одиночка, которой едва исполнилось 18, вызывает у меня совсем другие эмоции. Рождение ребенка — событие взрослой, ответственной жизни, и надо хорошенечко вбивать в головы 16-летним, что общество и государство не будут в восторге от их скороспелого материнства. Плохо и страшно, когда подростки, в сущности, еще дети, играют во взрослую любовь, будучи не в состоянии сами ни по уровню своего морального развития, ни по социальному положению справиться с ее последствиями.

«Правильно ли мы, и в частности пресса, разговариваем с нашими «акселератами»? — задает вопрос читательница, которая подписалась «просто мать». — Не слишком ли нам застит глаза, что у 15-летнего сына 44-го размера ботинки, а на дочке не сходится мамина блузка? Не слишком ли всерьез мы сами принимаем их претензии на взрослость? И вместо того, чтобы удерживать в естественном для их возраста кругу интересов, подталкиваем к сознанию, что их жизнь почти ничем не должна отличаться от жизни взрослых людей?»

Ей вторит читательница О. Ф. из Якутии: «Надо учить молодых думать о жизни, о ее сложностях, об отношениях людей. Людей, а не только полов».

«Странное дело, — размышляет В. Костылев из Рязани, — чем больше статей об интимных отношениях молодых, тем стремительнее растет легкомыслие. Вроде как масло подливается в огонь...»

Скорее всего так оно и получается. Еще Лев Толстой говорил: «Один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов есть соблазн словами: «Все так делают». И разве не мы, взрослые, внушаем детям, что 16 лет есть «возраст любви»? Вот и в школе ввели нечто вроде «сексуального ликбеза». А ведь школу кончают за год до совершеннолетия. Так ли уж это безобидно — преподносить «азы», так сказать, половой грамоты юным существам, не постигшим еще нравственного, духовного смысла этого чувства?»

Да, нынче общество не третирует девушку, женщину, если она сошла «со стези добродетели». Но не «перебираем» ли мы и в желании успокоить, утешить девушку, попавшую в беду из-за своей неразборчивости или душевной слепоты? Ах, сколько писем получила редакция, в которых Оксане М. пытаются внушить, что все будет прекрасно, что ничего страшного не случилось, что все обязательно поправится и ее обязательно полюбит очень хороший человек.

Как свято верят многие в «поправимость» всего на свете, как надеются, что «счастье придет обязательно, надо только захотеть».

К сожалению, редко говорим мы молодым суровые слова о том, что одним неосторожным поступком можно поломать всю жизнь, что настоящее счастье достигается лишь в трудной борьбе с соблазнами, с самим собой.

А говорить об этом надо.



Дорогие друзья! Под таким девизом будет проходить наш традиционный конкурс одного стихотворения, который в этом году посвящен 70-летию Великого Октября. Напоминаем условия конкурса: в нем могут принять участие все, кто пишет стихи (кроме членов Союза писателей СССР). Необходимо указывать профессию, имя, отчество, фамилию, возраст, домашний адрес. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Итоги конкурса подводятся в конце года, победители награждаются дипломами «Смены». Но самой приятной, мы надеемся, наградой победителям станет публикация подборки их стихов. Желаем успехов! Ждем ваших писем!

“Отчизне посвятим”

Игорь ПОТОЦКИЙ,
слесарь-наладчик,
Одесса

Новая книга

Есть в книге новой тайная струна,
Которая вот-вот проснется
И зазвонит,

и лишь тогда очнется
Душа, чужой судьбой озарена.
Уверен ты, что мог бы им помочь —
Героям книги, что внезапно стали
Друзьями, но уходит дальше ночь,
А все твои советы запоздали.
И нет страниц, а есть январь и сад,
И есть героев смутное волнение,
И, словно Пушкина стихотворенье,
Возвышенно слова в саду звучат.
Они уходят медленно, как дым,
Осыпанные зимним снегопадом.
Ты чувствуешь —

их окликать не надо,
Но знаям ты огорчен своим.
Ты словно в первый раз
опять влюблен,
И сердцу твоему сильнее биться...
Дочитана последняя страница,
И два часа отпущено на сон.

Евгений КОНДРАТЬЕВ,
служащий,
Москва

В полях легли глубокие снега,
А тучи темные
опять ползут по небу.
Мне бесконечной кажется зима,
Когда весна придет
на смену снегу?

И в бесконечности
бывает перерыв —
Приходят дни,
как будто мы в апреле —
Нам солнце светит,
про зиму забыв,
Звенят, звенят веселые капли.

Звенят, звенят, как музыка весны,
Щебечут птицы,
пусть еще не трелью,
За дальней елью спрятались клесты,
Раскачивая ветви, как качели.

Приносит южный ветер к нам тепло,
Смолистый запах ели и сосны.
Что из того,
что все вокруг бело —
Проходит репетиция весны.

Алексей РУСЕЦКИЙ,
рабочий,
Москва

Телефон-автомат

Тихо звякнула «двушка».
В трубке слышен гудок.
Автомат, как игрушка.
Ну, а я, как игрок.
Диск кручу, как рулетку.
Может, выпадет мне
Голос твой на минутку
Услышать в тишине.
Но в далекой квартире,
В темноту погружен,
Тщетно шлет позывные
На столе телефон.

Тамара ДЬЯЧЕНКО,
журналист,
Севастополь

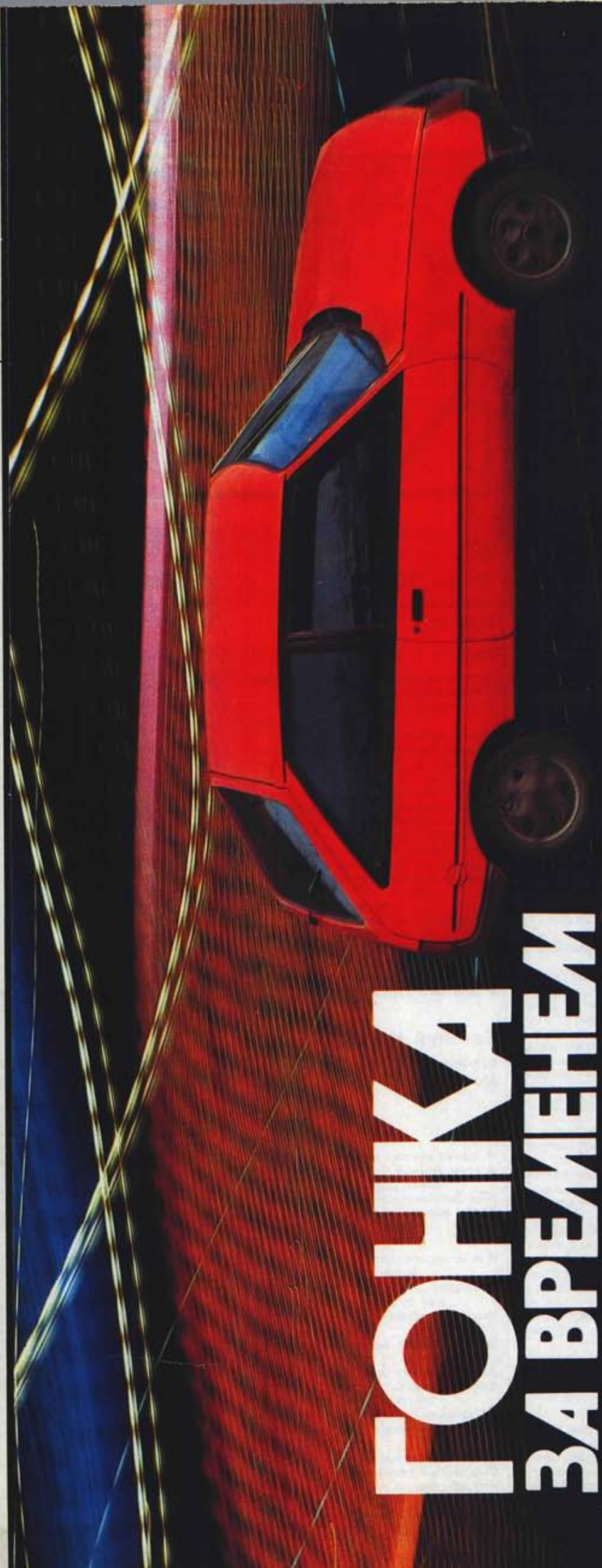
Туман, туман — сплошное «молоко».
Всю ночь маяк акулался с судами.
Огни размыты. Где-то далеко
Вот-вот рассвет

займется над садами.
Буксир-трудяга с тросом на корме
Пройдет, как морячок,
Походкой валкой.
И водоросли будут в глубине
Струиться, словно волосы русалки.
Уляжется пугливая волна.
И утро ясным выдастся как будто.
И город мой, очнувшись ото сна,
Как в зеркале,
себя увидит в бухте.

Владимир НЕСТЕРЕНКО,
учитель,
Краснодарский край,
станция Брюховецкая

Чайка

На деревьях — иней свежий,
Наступает зимний срок.
Даже в полдень
Волны режет
Выбегают на песок.
Воробы унылой стайкой
Скоро с пляжа улетят,
А пока они за чайкой
С тайной завистью следят.
Птица спорит с непогодой,
Море яростно ревет,
Но в любое время года
Продолжается полет.



ГОЊИКА ЗА ВРЕМЕНЕМ

Фото Евгения Стецко

Машина эта в принципе разработана была давно, много лет назад, именно переднеприводная, облегченная, экономичная, современной формы. Но одно дело — идея, другое — материальное обеспечение для ее реализации. Можно, как говорится, на колени се сделать пять — десять, даже пятьдесят автомобилей, показать их на выставках, высокому начальству, даже снять рекламный ролик, а дальше — тулик. Без новых цехов, новой их оснастки, без перепрофилирования родственных предприятий, без надежной сырьевой базы, подготовки инженерных и рабочих кадров серийное производство не состоится. Потому-то так долго мы ждали этой машины: не было средств, фондов, не утверждался проект реконструкции заводов объединения «АвтоАЗ». Когда эти проблемы наконец решены, начали торжествовать сначала ритмичное выделение капиталовложений, потом строители, различного рода согласования поставок оборудования.

Об этом мы беседовали с генеральным директором объединения «АвтоАЗ» Степаном Ивановичем Кравчуном. Он из рабочих, вырос в

крупного руководителя на глазах у коллектива, производство знает от «а» до «я», особенно его узкие места, так что новая модель обрела свои окончательные технические контуры непосредственно под его руководством.

— Современную машину можно сделать только при современном мышлении, современном подходе к принципам автомобилестроения и, конечно, на современном оборудовании.

— Вас, коммунарцев, удовлетворяет новая модель?

— В принципе да. Но это не значит, что 1102-я всегда останется такой. Мы работаем над модификациями базовой модели, будем усовершенствовать ее аэродинамические качества, рассматриваем перспективу до 2000 года и дальше. Одно точно — это все-гда будет экономичная, неприхотливая, недорогая машина. На конвейер 1102-я встанет в третьем квартале этого года, если, конечно, все пойдет по плану.

Подробнее с новой моделью знакомит нас инженер-исследователь Юрий Ивашин:

— Аэродинамика 1102-й такая же,

как у вазовской «восьмерки», а расход горючего на 100 километров при экономической скорости менее 5 литров. Это и за счет оригинального карбюратора, и за счет легкости. Чистый вес машины — 660 килограммов, на сто с лишним легче «Запорожца».

В конструкции использованы пластмассы, в том числе для бамперов. Это преимущество — при неслышном ударе они амортизируют, сохраняя свою форму. Нет дисков, колеса крепятся на три ушка. Это тоже экономия металла. Оригинальная задняя подвеска, состоящая всего из трех деталей. Нет картера заднего моста, карданного вала. Двигатель наш, мелитопольский, пятидесятилитровый, очень экономичный, объем 1090 кубиков. Разгон до скорости 100 километров за 18—20 секунд. Компоновка всей машины выполнена так, чтобы при любой силе удара оставалось пространство для сохранения жизни пассажиров. К стати, салон новой модели такой же, как у «Жигулей». Что еще? Жидкостное охлаждение, эффективная система отопления кабины.

Открываем капот. Поначалу кажется, что в моторном отсеке тесновато. Действительно, все пространство ис-

пользовано предельно рационально. Непривычно то, что не видно аккумулятора, он внизу, у лонжерона. Зато под рукой «запаска», катушки зажигания, распределитель, бензонасос, карбюратор, воздушный фильтр, свечи — самое необходимое.

На улице не выдерживаю — прошу Юрия дать руль. «Попробуйте». Тело фиксируется в полуавтоматическом кресле почти идеально. Обзорность прекрасная за счет увеличения площади лобового стекла. Руки на руле не скользят — баранка упругая благодаря специальному покрытию вспененным полиуретаном. Сразу ощущаю разницу в управлении. На 1102-е оно более «острое», послушное. Легко маневрировать.

Мягко жму на педаль газа — машина сразу уходит вперед, оставляя Далеко позади новенькие «Жигули». Скорость на спидометре — 40 километров, а я еще не перешел на вторую передачу...

За городом трасса свободна. Вспоминаю, что есть пятая экономичная передача. Перехожу на нее. Увеличиваю скорость до 120. Можно выжать больше, но не рискую. В салоне тишина. Двигателя не слышно, только ед-

ва улочивый шелест колес по асфальту.

В городе Ивашин сам садится за руль. Час пик — много машин, как бы чего не вышло. На одном из перекрестков водитель прижавшегося вплотную старенького «Москвича» делает Ивашину какие-то знаки. Юрий опускает стекло.

— Когда в серию-то запустите?

— Совестно перед людьми, — говорит Ивашин. — Уже на предприятиях запись вовсю, проходу не дают: когда да когда. Ждут нашу машину, верят в нее. Скорее бы в серию! Убежден, что реальный спрос только на внутреннем рынке на нее будет вдесятеро выше, чем мы способны выпустить в первые два-три года.

Что ж, остается только пожалеть о том, что новая модель Запорожского завода рождается так долго и трудно. Впрочем, тому, что она все-таки рождается, мы в немалой степени обязаны именно коммунарцам, их технической эрудиции, деловитости, напору.

Владислав ЯНЕЛИС

Рекомендует
Дом моды «Яна»
из болгарского города
Благоевград.

Лилия
МАСЛОВА,
редактор
журнала
«Лада».

Клетка — крупная, средняя, мелкая — опять входит в моду. Но если раньше мало кто позволял себе носить костюм из ткани в крупную клетку, то сейчас, комплектуя брюки или юбку в клетку с однотонным пиджаком или, наоборот, пиджак в крупную клетку с однотонной юбкой, можно создать массу вариантов различных ансамблей. Расширяются и возможности использовать понравившуюся ткань в клетку тем, у кого далеко не совершенная фигура. Ведь даже довольно полная девушка может позволить себе сшить пиджак из ткани в среднюю клетку, который она будет носить со строгой прямой однотонной юбкой. Отделайте лацканы пиджака контрастным материалом, и фигура будет выглядеть значительно стройнее. Длинный шарф, как и лацканы контрастного цвета, служит модным дополнением к костюму, зрительно удлиняет фигуру.

Высокие, стройные девушки могут позволить себе костюм, состоящий из короткого пиджака и длинной (до середины икр) юбки. Если вас смущает довольно строгая цветовая комбинация белого и черного цветов, смело вводите в ансамбль яркие акценты в виде жилета, берета, шарфа, свитера из ткани насыщенного тона. Не забывайте и об обязательных дополнениях — шляпах, перчатках, туфлях, которые должны быть одноцветными.

Для пошива праздничных туалетов можно использовать шелк. Старайтесь подобрать такой фасон, который бы подчеркивал красоту материала. Это может быть прямой строгий силуэт без излишних дополнений и отделок. Лиф платья можно украсить драпировкой, защипами, складочками, которые выгодно подчеркнут воздушные свойства шелка.

И ОБРАЗ ВАШ



Уже
не первый год
Владимир
Чекасин
признается
музыкальными
критиками
лучшим
джазовым
исполнителем
Европы.



МЫ СОЧИНЯЕМ ДЖАЗ

Анна АНДРЕЕВА

Весной этого года в Зале имени Чайковского выступало вильнюсское трио камерного джаза В. Ганелина. Ансамбль не нуждается в рекламе. У него есть своя аудитория. Ее костяк составляют те, кому сегодня «слегка за и под» сорок.

Те, кто в юности кочевал по первым фестивалям «иностранной музыки джаз», проходившим без особого шума в провинции. На одном из таких фестивалей пианист Вячеслав Ганелин и ударник Владимир Тарасов познакомились с альт-саксофонистом Владимиром Чекасиным. Образовалось трио, отмечавшее в этом году пятнадцатилетний юбилей. К музыкантам, первыми преодолевшим в нашей импровизационной музыке тяготение «негритянского» джаза, к ансамблю, играющему пьесы сложные, можно сказать, авангардные, пришло признание любителей серьезной современной музыки.

Перед зданием Зала Чайковского привычны вопросы о лишних билетах и понятны просьбы объяснить, что такое «Трио Ганелина». Необычное произошло в вестибюле, куда после звонка, сломав сопротивление билетерш, ворвались отчаявшиеся достать билеты мальчики с характерными «ежиками». Такой публики не знал раньше ни этот зал, ни трио. Кому удалось оторвать их от «кассетников»? Кто соблазнил их концертом камерной музыки? Таким, где обрывки музыкальных фраз и неслыханные звуки, не успев возникнуть, ускользали, так и не сложившись в приносящую отдохновение мелодию. Программа ансамбля была в тот день соответственно залу строгой и, как всегда, выверенной до единого звука.

Ганелин, Тарасов и Чекасин, как и большинство джазовых музыкантов, не ограничивают себя рамками одного ансамбля. Можно допустить, что совсем молодые люди не видели балета Ганелина, не знают, что он автор музыки к нашумевшим кинофильмам «Чертова невеста» и «Парад планет». Возможно, неизвестна молодым и уникальная сольная (!) пластинка В. Тарасова... Но представить, что молодежь не слышала о саксофонисте из ГТЧ (Ганелин, Тарасов, Чекасин), нельзя. Ведь Владимир Чекасин в прошлом году уже в шестой раз подряд назван критиками и публикой лучшим джазовым музыкантом страны.

Биография не объясняет его популярности. Родился и учился в Свердловске, живет в Вильнюсе. В школе был скрипачом, в консерватории — кларнетистом, сегодня — мультиинструменталист. Чекасин испытывает себя сменой инструментов, звучаний, партнеров: выступает с квартетом (В. Чекасин, О. Молокоедов, Л. Шинкаренко, Г. Лауринавичус), пианистами Л. Чижиком, И. Брилем, С. Курехиным, Ю. Кузнецовым, певицей В. Пономаревой, фольклорным ансамблем Д. Покровского... Он смело, как черт из коробочки, выскакивает на сцену и демонстрирует увлекательный спектакль — «самосожжение» в огне человеческих страстей. От звука к звуку, издавая стенания все более невероятные, саксофон ведет нас к космическим

глубинам чувств... Энергия Чекакина подавляет скепсис любого зрителя.

Чекасин отсылает страждущих выявить музыкальные корни его успеха к «нашим замечательным московским теоретикам», но свою жизненную и профессиональную позицию он формулирует четко и объясняет охотно. Чекасин преподает импровизацию в детской музыкальной школе и руководит консерваторским бигбэндом. От педагогики один шаг к просветительству, и порой то, что мы вечером считаем заигрыванием с публикой, на утро оказывается подвигом Прометея. Как только Чекасин выходит из стен ГТЧ «в люди», он тут же наводит мосты назад. Его стремление объяснить необъяснимое, рассказать непосвященным то, что в искусстве всегда остается недосказанным, звучит со сцены всеобщей трагедией творчества и вызывает сострадание публики. Каждому хочется быть понятым.

— Ни ГТЧ, ни каждый из нас в отдельности джаз не играет, — говорит Владимир Чекасин. — Современная импровизационная музыка, естественно, вбирает элементы джаза, но не ограничивается ими. Чистый джаз ожидаем, вариативен, традиционен. Он воспитал у слушателей привычку к узнаваемой музыке, от него ждут очарования воспоминаний, перефраз, обращения к славным именам негритянских музыкантов тридцатых годов. В нашей музыке трудно найти истоки, она может прийти из леса и с улицы, начаться с песни и в зале...

Джаз, потеряв родителей, обрел детей. Стал моложе и понятней тем, кого пока не волнуют воспоминания. Отказавшись от джазовой музыки, Чекасин остался джазменом, человеком из джаза, общительным и играющим то, что у всех на устах. Его музыка немислима без джем-сешна, переключки солистов и солистов с друзьями. Чекасин не приемлет рампы, разделившую зал пополам. Снискав аплодисменты взыскательных концертных залов Европы, Азии и Америки, он по сей день способен потряхнуть старинной на танцплощадке.

В московское кафе «Метелица», где нынешней зимой на время праздника «Новый год приходит на Арбат» разместился джаз-клуб, Чекасин появился на исходе ночи вместе с клавишником своего квартета Олегом Молокоедовым и пианистом Юрием Кузнецовым. К их приходу праздничный концерт закончился. По углам полупустого зала — танцы под магнитофон... Чекасин взял саксофон и без предупреждения, помогая звуку ногой, перекрывая шум и гам, врубил след в след танцующих рок. Удар рока. Судьбу рока. Покаяние злого рока, обнажающее за мелодией Бетховена детсадовскую «Елочку». Мелодии были так знакомы, а их превращения очевидны, что музыка раскрылась, как книга: «В миг расставания, в час платежа, в день уюда дня недели, чем это стала ты нехороша? Что они, все одурели?» Ушел из-под ног затоптанный пол, вещи обрели смысл, люди собрались в круг.

В причитаниях его саксофона поют улетающие птицы, плачут убитые звери, шумят срубленные деревья. Обратившись к городскому молодежному фоль-

клору, Чекасин не только представляет его на большой сцене, но и воссоздает на его основе истинно народную обстановку творчества, где святочное баловство возведено в ранг художественного обычая, а ряженым может быть любой. Хотим мы этого или не хотим, нам придется рано или поздно признать в самом факте увлечения молодежи смежной модных течений культурную традицию и научиться ее отличать от «веяний Запада», отделив причину от следствия, традиционную ценностную установку молодежи «на новое» от попавшегося ей на отечественном эстрадном безрыбье заморского рака. Не их вина, что в так называемой «легкой музыке» у нас серьезное почти всегда скучно, а веселое несерьезно и вторично. Джаз — редкое исключение, которое грех не использовать молодежной пропаганде. Благодаря ГТЧ, «ансамблю, не имеющему аналогов ни у нас, ни за рубежом», советский джаз стал у руля мировой импровизационной музыки.

— В трио, — рассказывает Владимир Чекасин, — преобладает язык камерно-симфонической, сближающейся с джазом музыки, ориентированной на искусственного, способного к высокому уровню абстрактного мышления слушателя. Вне ГТЧ я стараюсь расширить аудиторию. Не упрощая идей, заложенных в сложной структуре симфонической музыки, и не возвращаясь к чистому джазу, использую принципы джазовой драматургии, построенные на облегчающем восприятие повторении узнаваемых элементов, всегда учитывая музыкальную эрудицию слушателей. В современной музыке, как и во всей культуре, нет диктата единой художественной системы. В композиции на фоне восточных мотивов может произойти взрыв фри-джаза, а разнородные части пронизать регулярный ритм рока. Общение с молодежью подразумевает разговор на принятом у нее языке модных стереотипов. Разработанные в массовой культуре языки имеют яркую и ясную социально-культурную окраску и, отстаиваясь в быту, занимают в наше время место той сочиненной в народе музыки, того фольклора, который издревле обобщает и организует композитор.

Неустанно расширяя языковую палитру, Чекасин в поисках абсолютного партнера-полиглота, которого нет и быть не может, превращает сцену и зал в грандиозный орган, в котором, стремясь к немислимой полифонии, он переставляет партнеров, как блоки в ЭВМ. Чекасин в своих композициях не только осмысливает желания публики, но и исполняет их вместе с залом. В городах, где выступает, он создает актив энтузиастов, помогающих ему расшевелить аудиторию. Захватив из дома все, что играет, дедушкину флейту и стиральную доску, прикупив в «Детском мире» погремушку, они, рассеявшись по залу, создают эффект передающейся от слушателя к слушателю так называемой пространственной музыки. Безыскусность исполнения самоучек, влетающиеся в музыку разговоры, подхватываемые на сцене дирижером, расковыряют публику. А саксофон расставляет по этому черновику ударения.

На одной из репетиций актива, когда Чекасин, задав фразу и проверив ее звучание у каждого из присутствующих, как бы нажимая на живые клавиши, дирижировал ее повторением, неожиданно для себя самого заигравший новичок спросил, чья это музыка. «Это сочинили мы с вами», — ответил музыкант.

— На своих концертах, — продолжает Чекасин, — предпочитаю людей, которые просто любят музыку и не зажаты профессиональным мастерством. Важен слушательский опыт, знания правил игры, которые, будучи записанными на бумаге, упрощаются до бессмыслицы. Прослушивание концертов, пластинок, записей воспитывает непринужденность восприятия, позволяющую при столкновении с новым явлением забыть опыт старого. В конечном счете интеллигентность кроется не в знаниях, а в умении с ними обращаться. Рассуждая о вкусах, мы забываем, что разумное повторение фальшивой ноты приводит в искусство. Музыка — всего лишь организация звуками времени, и на это способен каждый. Люди хотят реализоваться, и им есть что сказать, но они не знают, как это сделать. Это можно подсказать, застенчивому надо дать тему. Главное, убедить в том, что он сумеет. Музыка становится способом мышления и воплощения внутренней свободы. Зрителью я рассказываю то, что меня волнует, ясно формулируя чувства, на которые ждут ответ.

О чекасинских концертах пространственной музыки спорят. Но искусство вообще штука сложная, заблуждения художника часто оказываются содержательными и поучительными, а их беспешное исправление может лишить нас следующих за ошибками открытий.

Театр Чекакина захватывает. На его концертах эффекты движений, помогающие извлечению звуков из «трубы», сопровождающие саксофон подпевы, пританцовывания, цветомузыка, лазеры и кинетические модели составляют с музыкой единое целое. Чекасин коллажирует не жанры и предметы, а чувства, ими создаваемые...

Но это надо видеть, а мы редко ходим на концерты. Их заменили, по меткому выражению Чекакина, «концерты на консервах» — записи. Нам стало казаться, что все свое у нас дома и с собой.

Не исключено, что и Чекасин думает об этом, организуя концерты пространственной музыки. Их «законсервировать» нельзя. На них надо быть. Импровизированная музыка бескорытна. Горечь утрат и радость встреч живут в ней рядом. Рождаясь, она в тот же миг покидает нас, чтобы вернуться в новом обличье. Джаз измеряет время. На концертах Чекасин то раскладывает его по минутам, как бы пробуя «на зуб», то сжимает, уплотняя его так, что кажется, жизнь пролетает, как миг. И вместе с ним, успевшим повзрослеть до магнитофонного бума, мы, как и наши старшие братья когда-то, кочует вслед за Музой, возрождающейся на глазах. А рядом мальчики, которым, кроме концерта, бежать от сопровождающих их повсюду чудо-магнитофонов вроде и некуда.

Руслан ГАЛАЗОВ.

Фото
Владимира ЧЕЙШВИЛИ

Парижское издательство «Публикасион Ориенталист де Франс» совместно с советским издательством «Радуга» готовит в нынешнем году к изданию поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Иллюстрирование доверено художнице Русико Петвиашвили.

ДЕВУШКА И ВИТЯЗЬ



Когда у нее выдается свободный час — а они редки, ведь Русико учится в Тбилисской Академии художеств, много работает дома, — она идет гулять по любимому городу, чтобы подняться на Мтацминду, откуда виден весь Тбилиси, а потом, спустившись вниз, побродить по старым улочкам, поговорить с древними храмами, домишками, нависшими над Курой. Уж они-то наверняка помнят и веселых шарманщиков-кнтаури, и любимого ею художника Нико Пиросмани. О нем она в детстве слышала от отца, скульптора Вахтанга Петвиашвили, а глубоко познакомились с искусством Пиросмани, все-таки осталась собой, хотя немало взрослых, вполне самостоятельных художников не могут удержаться от соблазна копировать его.

«Она больше, чем кто-либо, похожа на себя, на грузинку Русико Петвиашвили». Это из отзывов на ее персональную экспозицию в Париже. А до Франции ее работы демонстрировались в Тбилиси и Москве.

Есть ли у Русико склонность кому-то подражать? Подражать — нет, а вот любить... Она поклоняется мастерам эпохи Возрождения, не без трепетного чувства говорит об импрессионистах, обожает искусство Амадео Модильяни.

Задумывалась о феномене таланта юной художницы — ей нет еще и восемнадцати, — всматривалась в цветные графические листы к великой поэме Руставели, выполненные акварелью и тушью. Непосвященному и не представить, как сложен этот труд даже для художника с большим опытом работы в книжной графике, ведь идет незримое творческое соперничество с самим создателем поэмы. Об этом соперничестве художник обычно умалчивает, не говорит о нем вслух — это его тайна, а мы можем только о чем-то догадываться, предполагать. Понятно, когда с автором такой поэмы, как «Витязь в тигровой шкуре», где не только отражена эпоха, но присутствует глубокая философия бытия, своеобразный поединок ведет умудренный жизнью корифей графики. (Поэму в разное время иллюстрировали многие мастера искусства.)

Завещание КОЛУМБА

Братья ВАЙНЕРЫ

1

...Мир вокруг меня был объят серой пеленой, и я знал твердо, что за дымно клубящимся сводом — сон. А здесь, внутри бесплотного шатра, за которым плыла нереальность, здесь была явь. Был гладкоструганый сосновый стол, тонкий чайный стакан, над которым я постепенно сдвигал дрожащие от напряжения ладони, — и стакан оживал, еле заметно начинал двигаться, и когда ток крови с ревом зашумел во мне, стакан оторвался от стола и повис в воздухе...

Стакан висел, удерживаемый только моей волей, и ощущение необычайного счастья, чувство огромной внутренней силы затопило меня, я вспомнил название, имя этой силе и закричал освобожденно — телекинез!!!... — и стакан ёрзливо выскользнул из моих разомкнутых ладоней и с пронзительным звоном полетел вниз, разлетаясь на куски еще до того, как ударился об пол и выбросил меня из моего отчетливого убежища яви в мутную облачность сна, и только непрерывный звон сопровождал меня на всем долгом пути, пока я плыл вверх через бесконечную толщу видений из своего затопленного батискафа яви, где я владел волшебной силой телекинеза...

И, не открывая глаз, чтобы не разрушить в себе это ощущение необычайного дара, а только оторваться от назойливо звенящей цепи сна, я поднял телефонную трубку и сказал шепотом:

— Слушаю...

В трубке засипело, чавкнуло, и далекий, измятый помехами голос вполз в ухо настырно и щекотно:

— Тихонов? Это ты, Стас? Стас, это ты? Это Лариса с тобой говорит...

— Кто? Какая Лариса?

— Лариса! Коростылева! Николая Ивановича дочь... — И сквозь треск и писк в проводах, сквозь скрипучий шорох мембраны я услышал плач.

— Откуда ты? Что случилось? Алло, ты меня слышишь?

— Я из Рузаева... Папа умер... Прошу тебя... — И снова плач, издерганный помехами, стер все слова.

— От чего? Почему умер? — растерянно и бессмысленно спросил я, как будто сейчас имело значение, от чего мог умереть человек семидесяти трех лет.

— Инфаркт... Его убили... Приезжай, если можешь.

Забились, забубнили в трубке гудки отбоя — разрыв связи, конец разговора, окончательно лопнула источившаяся нить моего сна, я проснулся совсем и понял: старик Коростылев умер, и сердце сжалось тревожно и больно.

И горечь от потери одного из немногих дорогих мне людей еще не проникла глубоко, она плавала на поверхности сознания желтой пеной досады, острой раздраженности на прерванный неповторимый сон, на дурную весть спозаранку, на то, что субботнее утро покоя и отдыха сразу же затянулось грозной пеленой неприятности и испуга.

Я не ощутил потери. Я еще не проснулся. Я не понял, что старик Коростылев умер. Я еще жил в своем волшебном сне, твердо зная, что обладаю сверхъестественной силой двигать и поднимать любые предметы энергией своей души, мощью взгляда, напряжением ума. Я еще был наделен гипнотической властью телекинеза.

И потому сознание мое не принимало мысль о смерти Коростылева, оно выталкивало на поверхность и гнало к периферии чувствования нелепую идею о том, что мог умереть человек — несмотря на мое удивительное могущество, — человек, который четверть века заменял мне отца, был старшим бра-



том, легкомысленным воспитателем, душевным товарищем, советчиком, беззащитным старым подопечным...

Встал и пошел на кухню, ощущая своими вялыми ступнями горожанина холодящую гладкость паркетных клепок. И утро за окном было, как этот паркет, бесцветно-чистое, прохладное, лакированно-гладкое. Неуверенное московское лето, жидкий голубой ситец над головой, мгновенно промокающий серым дождем.

Пустил из крана холодную воду и долго пил жадными глотками, будто израсходованная в телекинезе энергия иссушила меня до костей. А водопроводная труба надо мной гудела в это время низко и печально, как фагот.

Потом включил электроплиту, насыпал в турку коричневый крошащийся порошок кофе, плеснул воды, поставил на конфорку и уселся на табурет — в полном безмыслии, законченном безмолвии чувств, — я просто ждал, когда сварится кофе, и тупо обитал в своем противном настроении.

Скрипнула дверь, и появилась Галя, со сна пухлорозовая и примятая складочками, как зефир.

— Кто это тебя поднял ни свет ни заря? — спросила она.

— Дочь моего приятеля...

— А что хотела?

— Сообщить, что он умер...

— Ой-ей-ей! Какое несчастье! — готовно огорчилась Галя.

Она всегда была готова вместе со мной огорчиться или порадоваться. Галя готовила себя в спутницы моей жизни, и по ее представлениям спутница жизни

должна всегда жить в эмоциональном резонансе со своим избранником. Время от времени она в безличных оборотах сообщала мне, что все несостоявшиеся или распавшиеся браки были нежизнеспособны из-за неумения или нежелания людей сопереживать друг другу. А Галя это умела. За нас двоих.

— Какое несчастье... — повторила Галя на полтона спокойнее и на октаву печальнее, не обнаружив ответа на свою реакцию сопереживания. Она мне хотела морально помочь, она была готова искренне огорчиться по поводу смерти неведомого ей моего приятеля, но из-за проsonoчной зефирной пухлости она мне была неприятна.

— Вы вместе работали? — озабоченно спросила Галя.

— Нет. Он был моим учителем...

— Учителем? — удивилась Галя. — Ты дружил со своим учителем?

— Да, я дружил со своим учителем. Тебя это удивляет?

— Нет, вообще-то я могу себе это представить... Но это так редко случается...

— Наверное... Да и люди такие, как Коростылев, редко случаются...

— И вы с ним регулярно общались?

— Нет, не регулярно. Несколько лет назад он уехал из Москвы...

— Почему?

— Это мне тебе объяснить трудно...

— Почему же трудно? Я что — такая непонятливая? — постепенно раздражаясь и утрачивая готовность к сопереживанию, поинтересовалась Галя.



— Нет, ты понятливая. Но Коростылева ты не знала. Он мне сказал: я хочу жить в маленьком Рузаеве, и работать там, и знать всех, чтобы каждый вечер, когда я выхожу на прогулку, со мной поздоровалась вся улица...

— Странная амбиция...

— Это не амбиция—ты просто Коростылева не знала.

— Он что—был чудак?

— Может быть, это и называется—чудак. Мудрый, веселый старик...

— А она тебе не сказала, от чего он умер?

— От инфаркта,—сказал я, и в памяти резко—толчком—вдруг всплыл раздерганный треском и расстоянием голос Ларисы: «...его убили...»

Как это—убили? За что? Каким образом? Он же умер от инфаркта...

«Приезжай... если можешь, приезжай обязательно...»

Убили? Что за чепуха? Коростылев—большой старый ребенок. Детей не убивают. Но дети, к счастью, не умирают от инфаркта. Как можно убить инфарктом?

— Бедный Тихонов,—сказала Галя и погладила меня по голове. От ее руки пахло кремом «Нивея», который я ненавижу. И не люблю, когда меня гладят по голове: я весь напрягаюсь изнутри, и по спине у меня ползут мурашки. Какая-то ужасная форма добровольного рабства—я не могу собраться с духом и сказать Гале, что мне не нужно ее сопереживание, что я ничего не могу дать взамен ее любви, преданности, готовности понимать меня и стряпать для меня, что я от всей души желаю ей счастья, но как-нибудь отдельно от меня.

Как объяснить ей, что мы очень разные люди? И я не могу заплатить всей жизнью за то, что она меня когда-то полюбила. Надо бы ей сказать, что нельзя требовать за свою любовь такой большой платы. Но мне даже не приходит в голову, как начать такой разговор, ведь он наверняка требует какого-то сильного повода, грубой ссоры, скандала. А вот так—ни с того ни с сего—сказать: «Давайте, подруга, разоидесь!»—язык не поворачивается.

Интересно, как поступил бы на моем месте Коростылев, что сказал бы он Гале? Или ничего не говорил бы, а молча терпел? Правда, Коростылев скорее всего и не мог оказаться в таком положении. Он был из числа тех счастливых неудачников, которых женщины оставляют первыми. Когда от него ушла жена, мать Ларки, он сказал мне с печальным смешком:

— Она, Августина Сергеевна, конечно и безусловно права. Что поделаешь? С точки зрения общих представлений о людях я человек вполне дураковатый... Жить с такими трудно... Особенно стыдно перед соседями...

И левый его искусственный глаз блестел неуместно ярко, а правый, живой, моргал растерянно и грустно.

Мне было тогда немного жалко Коростылева, но сопереживание мое было похоже на Галино—я досадовал, что такой потрясающий человек, как Кольяныч, огорчен из-за ухода никому не нужной крикливой и некрасивой женщины. Ушла и ушла, бог с ней, всем от этого будет лучше и спокойней. Жизнерадостный юношеский эгоизм не допускал мысли, что у

Кольяныча может быть иной взгляд на Августина...

Я смотрел на медленно поднимающуюся кофейную пенку, думал о Коростылеве и удивлялся неподвижности своей души—я почему-то совсем не испытывал уместной в таком случае скорби, а только тяжелое глинистое оцепенение сковывало меня полностью. Меня пугала мысль встать сейчас, одеться, ехать на вокзал, три часа трястись в электричке, потом еще на автобусе, спуститься с горы к покосившемуся домику, густо заросшему кустами бирючины и раkitника, распахнуть калитку и узнать, что Кольяныча нет дома. Навсегда. Ушел дед.

А когда последний раз провожал меня на автобусной станции, выглядел он совсем плохо, и я предложил устроить его в Москве в хорошую клинику. А он засмеялся своим булькающим тихим смехом, обнял за плечи, наклонился ко мне—дед был длинный, в нем была прекрасная тощая нескладность ламанчского бродяги—и сказал:

— Когда человек перестает бояться смерти, врачи ему не помощники...

Я покачал головой:

— Не выдумывай, Кольяныч,—смерти все боятся...

— Наверное, сынок. Только в старости ожидание смерти утрачивает унизительный вкус страха и остается лишь высокое огорчение от того, что жизнь истекает...

Вот и истекла его жизнь. А мне остался унизительный вкус страха и горечи.

Галя сказала с искренней болью:

— Ну, что ты все молчишь? Скажи хоть что-нибудь!..

— А что мне говорить? Человек должен говорить, когда молчать неумоготу...

Она сердито дернула плечом:

— Ты, конечно, поедешь туда?

— Конечно.

Потом вспомнила о своем долге сопереживать мне и, преодолев раздражение, вызванное крушением всех суботних планов, спросила:

— Чем я тебе могу быть полезна?

— Налей, пожалуйста, кофе...

Горячей воды в душе не было—обычная хамская привычка жэка выключать летом воду без всякого предупреждения. А может быть, зря я злобюсь на них, может, и висело в подъезде объявление. Когда я возвращаюсь с работы, мне уже не до жэковских известий. И холодный душ не взбудрил, лениво и зябко поливал он меня, как когда-то, очень давно, поливал меня дождь у школьного подъезда, где отловил меня за шиворот новый историк Коростылев Николай Иванович, которого, впрочем, ребята уже успели прозвать Кольянычем, устрашающего вида мужчина с ярко-синим глазным протезом и пустым рукавом пиджака, аккуратно загнутым у локтя и припиленным под мышкой желтой английской булавкой.

— Ну-ка, боец, поведай, чего ты тут делаешь? Что привело?

— Ничего,—ответил я искренне, потому что по сей день не понимаю, что привело меня после целого дня затравленного блуждания по городу к дверям опустевшей школы—может быть, потому, что больше деваться некуда было.

— Это я вижу,—засмеялся Кольяныч своим булькающим смехом.—Меня интересует, почему ты стоишь мокрый около школы, а не сидишь сухой в своем доме...

— Не могу. У меня деньги на пальто украли. Мать убьет...

— Ну уж, прям-таки убьет,—обескураженно заметил Кольяныч.—Отец заступится...

— У меня нет отца, у меня—отчим.

— А отчим не заступится?

— Если выпимши—заступится. А если трезвый—вряд ли...

— Кошмарную ты мне нарисовал картину. Много денег лягнули?

— Триста семьдесят рублей. Вся материна получка...

Ах, какие это были огромные деньги—триста семьдесят старых рублей! Сроду я не держал такой громадной пачки—две длинных, как простыни, сторублевки с изображением Кремля, две зеленых полсотни, два фиолетово-сиреневых четвертака и две серых десятички—толстенький сверток, который я трепетно прижимал рукой снаружи кармана, стоя в очереди около промтоварного склада ОРСа—отдела рабочего снабжения завода «Станколит». Сохранилось было необозримо и лучезарно, оно видимо светило сквозь жидкую ткань моей курточки, потому что вор-«щипач» безошибочно вырезал его в одно касание бритвой-пиской...

Кольяныч глаголем изогнулся надо мной и сообщил:

— Поскольку я не могу допустить ужаса детоубийства, придется мне отмусолить тебе из своих несметных запасов триста семьдесят рублей...

Я долго отнекивался, неуверенно отказывался, а в душе все ярче разгоралась надежда, что этот очень странный человек спасет меня от ужасного унижения. А поскольку я твердо знал, что у чужих людей денег

брать нельзя, то для собственного успокоения спросил:

— А откуда же у вас несметные запасы денег?

— Остатки былого,—засмеялся Кольяныч.—Хочешь—верь, а хошь—не верь: несколько лет назад я сжег восемь тонн денег... С большим трудом...

— Скооо-олько?

— Восемь тонн. Пульмановский полувагон. Намучились как бобики...

— А зачем же вы сжигали деньги?—потрясенно спросил я.

— Так я со своим батальоном попал в окружение под Харьковом. А на запасных путях остался банковский вагон с деньгами, не успели вывезти. Ну, не оставлять же его немцам—вот мы и жгли. А они—деньжищи эти прожлятые, в пачках, как кирпичи,—не горят ни за что, да дождь в придачу хлещет...

— И вы там набрали себе несметные запасы?—с восторгом поинтересовался я.

— Нет, сынок,—снова засмеялся Коростылев.—Когда жизнь почти смыкается со смертью—деньги вообще ничего не стоят.

— Почему?

— Мне сейчас объяснить тебе это трудно, у тебя в жизни стаж коротенький, про войну, про людей, про деньги ты еще знаешь маловато. Хотя дело, конечно, не только в возрасте. Мой солдат, Гулыга была его фамилия, набрал тогда потихоньку целый вещмешок денег. А утром мы пошли через линию фронта, и он взорвался на mine...

— Из-за того, что деньги взял?

— Может быть... Кто это точно знает?

Кто это точно знает? Любимое присловье старика. Знак осмотрительной настрадавшейся мудрости. Может быть, старик Кольяныч научил меня ухмыляться, когда возглашают прописные истины, вроде «дружба и деньги несовместимы»? Ведь теперь, глядя в бесконечный колодезь нашего с ним прошлого, я вижу на самом дне, под темной водой забвения, триста семьдесят рублей. Две сотни, две полсотни, два четвертака и две десятички—триста семьдесят рубчинок, превратившиеся со временем в жалобные тридцать семь, реформированные, истаявшие, истлевшие, сгоревшие в костре убежавших лет так же бесследно, как восемь тонн деньжищ на запасных путях под Харьковом. Да и был ли этот пульмановский полувагон? Существовал ли он в природе? Кто это точно знает?

Кольяныч мог все придумать. Я и сейчас не могу разобрататься, что действительно происходило в его странной жизни, а что он выдумал. Я ведь своими глазами видел у него дома завещание Колумба...

Вылез из душа, растерся полотенцем и стал быстро одеваться. И старался не думать о Кольяныче, я инстинктивно гнал от себя воспоминания о нем, потому что с каждой минутой во мне медленно, как алкоголь, растекалось ощущение, что больше старика нет. Тяжело ныло под ложечкой.

Я открыл секретер и достал старую, пожелтевшую фотографию—5-й класс «Б».

На сером фотографическом картоне три десятка школьных морд, помещенных в белые овалы, каждый в своем ровном вытянутом кружочке, отчего весь фотоснимок похож на стандартную сетку с польскими яйцами—только зародыш в форменной курточке и галстук ясно виден сквозь меловую мусть скорлупы. В волшебном инкубаторе времени все прошло положенный цикл развития, вылупились в жизнь нормальными курами, петухами, некоторые расправили крылья и взлетели орлами, а двое стали крокодилами.

Сейчас, рассматривая наши зародыши через микроскоп четверти века, пробежавшей с тех пор, как фотограф разместил нас в овальных скорлупках правильными рядами на картоне, я удивился тому, как ясно виден характер каждого яйца, как легко он угадывается.

Я не верю, что с годами люди сильно меняются. Мне кажется, что люди изменяются только количественно. Все уже написано на наших физиономиях, когда пушкарь рассаживал нас перед своим черным ящиком на штативе.

Кольяныч был старше меня на это знание—он уже тогда предчувствовал, догадывался, понимал, из какой скорлупы вылупились маленький симпатичный кровоядный крокодилчик Генка Жижин, он ощущал, угадывал, что Сашка Греков полетит соколом, а Надя Тетерина станет доброй, заботливой курицей.

Кого же провидел во мне Кольяныч? Неужели он знал мою судьбу страуса—задумчиво-нескладной птицы, неспособной летать?

Я умею бегать, таскать тяжести, я несравненный специалист по прятанию головы под крыло. Я только летать не могу.

Мне снятся волшебные сны о телекинезе.

Кольяныч, ты все это знал тогда?

Печальная штука—старые фотографии. Хуже бывают только вечера встреч бывших одноклассников, сокурсников. Горделивый смотр потерь. Из лопнувшей скорлупы глядят усталые лица, отретушированные сединой и морщинами. Генка Жижин, гладкий

преуспевающий прохвост, когда я встретил его недавно, снисходительно сообщил мне, что школьные юношеские дружбы склонны поддерживать в основном люди, совсем не состоявшиеся во взрослой жизни. Не знаю, может быть, он и прав — этот залитый розовым текучим жиром натурфилософ.

Наверное, я совсем не состоявшийся во взрослой жизни человек, если я пошел в поддержке школьных дружб дальше всех — я сохранил связи не со своими одноклассниками, а со старым школьным учителем. Никогда с ровесниками мне не было так легко и интересно, как с Колянчиком...

Может быть, я еще долго рассматривал бы наши зародыши в фотоскорлупках, пытаюсь разгадать, какие нити, когда-то протянутые к сердцу Колянчика, прервались с его смертью, но вошла Галя — причесанная, подкрашенная и совершенно одетая.

— Я еду с тобой, — сказала она твердо.
— Это ненужно и неуместно, — вяло ответил я.
— Проводить хорошего человека всем уместно, — заверила она меня. — Всегда. А тебе не нужно сейчас быть одному...

Господи, как же объяснить ей понятно и необходимо, что мне всего нужнее побыть одному, что мне ничье сопереживание не требуется?

Но не смог ничего придумать — я ведь маэстро запрыгивания головы. Только что-то неуверительное стал бормотать:

— Туда почти три часа на электричке ехать... Потом еще автобусом... Тебе лучше побыть здесь... Я вернусь вечером или завтра утром...

Галя тяжело вздохнула, неодобрительно покачала головой:

— Тебе не надо туда ехать на электричке и автобусе...

— А на чем же мне ехать? На дирижабле?
— Позвони Леше Кормилицыну — он твой школьный товарищ. И у него есть машина... Или покойный тебя одного в классе учил?

Она иногда пугает меня — когда угадывает мои мысли. Но понимает их неправильно. Как объяснить ей, что Колянчик учил нас всех, но я с ним дружил. А Лешка над ним посмеивался. И когда Галя вошла, я разглядывал пухломордую фотографию Лешки и вспоминал, как Колянчик вызволял нас из милиции. Кошмарное недостоверное воспоминание...

На кругу у Щукинского пляжа стоял пустой трамвай. Вагоновожатый ушел отмечать маршрутный лист, а мы с Лешкой через открытую дверь кабины разглядывали рычаги и приборы управления. Глухо постукивал, дробно урчал электромотор, еле ощутимо дрожал реечный пол под ногами, тонко вызванивали стекла в опущенных рамах окон, под ручкой контроллера увядала пыльная ветка акации.

Лешка сказал:
— Трамвай — машина простая... Я умею водить...
— Врешь? — усомнился я.
— Примажем? — завелся Лешка.

Мы в ту пору спорили по любому поводу — «примазывали». Не помню, успели ли мы примазать, не знаю, хотел ли Лешка взять меня на понт, не понимаю, как это получилось — Лешка бочком присел на высокую табуретку вожатого, с хрустом повернул какую-то ручку — и трамвай покатился. Я это даже не сразу заметил и только через несколько мгновений испуганно заорал: «Стой, Лешка, стой, мы едем!»

Доказав мне, что умеет пускать трамвай, Лешка, к сожалению, не мог продемонстрировать технику торможения. Трамвай медленно, но неукротимо ехал вперед. Свистки, крики, перекошенное от страха и физического напряжения лицо вагоновожатой, которая бежала за уходящим от нее трамваем. Отчетливо помню ее молодое деревенское лицо, залитое потами лица, выбившиеся из-под косынки пряди темнорусых волос.

Неподвластная нам тяжелая громада неуправляемого вагона, волокащая нас неведомо куда, — на всю жизнь сохранившееся воспоминание о собственной ничтожности и бессилии.

Вагоновожатая все-таки догнала трамвай, вскочила на ходу, затормозила громящую махину, навдала нам по ушам и сдала в милицию. А Колянчик нас оттуда потом вызволял. Не знаю, что он там говорил, как оправдывал нашу дурость, что обещал, но нас отпустили. Он забрал нас, и в полном молчании мы поехали домой. Мы с Лешкой понуро плелись за ним следом, и вид его длинной, слегка согбенной спины был нам невыносим, и Лешка не выдержал, жалобно попросил:

— Вы хоть изругайте нас, Николай Иванович...
Он обернулся к нам резко и спросил:

— Изругать? А почему я должен тебя ругать? Зачем? Древней богине Иштар приписывают великую мудрость: каждый грешник должен сам отвечать за свои грехи. Вы уже оба большие парни, и не надо перекладывать на меня бремя ответа за дерзкую глупость вашего поведения...

Галя не сводила с меня требовательного взгляда, я подвинул к себе аппарат и набрал номер. Пригоршня цифр, брошенная в телефон, с тихим гудением и писком долго шныряла по проводам и внезапно обернулась в трубку быстрым деловитым баритончиком Лешки:

— Кормилицын слушает...
— Здравствуй, Дедушка, это я, Тихонов.
— Ха! Здорово, Стас! Ты чего это спозаранку взыскался?

Судя по фотографии в белом яйце, у Лешки в детстве была копна светлых мягких волос. Но моя память этот факт не удержала — сколько его помню, Лешка всегда был лысым. Шустрый и нахальный паренек, растеряв годам к двадцати причёску, Лешка смоделировал жизнь и манеру поведения под свою лысину. Мне кажется, что еще в школе мы все звали его Дедушкой. Он подтвердил свою репутацию, женившись раньше всех, родил вскоре дочку и теперь — в тридцать семь лет — имеет двух внуков. И со мной всегда говорит солидно, снисходительно.

— Слушай, Дед, мне утром позвонили, сообщили, что Колянчик умер. Не хочешь со мной в Рузаево поехать?

— А, черт! Жалко как старика! Ужасно не ко времени...

— Ну, да, конечно... А ты слышал, чтобы люди ко времени помирились?

— Случается, — коротко бормотнул он. — А сколько годков Колянчику было?

— Семьдесят три, — сказал я и поймал себя на том, что говорю это с легким смущением, будто почтенный возраст Колянчика лишил его права на дополнительное сочувствие, которое вызывают люди, умершие молодыми.

— Да, жаль Колянчика, большой души был старикан, — искренне вздохнул Лешка и неожиданно хмыкнул: — Можем только утешаться мыслью, что сами-то мы вряд ли доживем до этих лет...

— Что-то ты, Дедушка, на половине дистанции заныл? — поинтересовался я. — По-моему, ты здоров как бык...

— Ну да, здоров! Давление скачет, сердце покалывает. Врачи говорят: реальная опасность ишемической болезни. И работа заедает — сейчас тоже сижу, квартальный отчет домой взял, на службе не успеваю...

Ему, наверное, в зародыше фотояйца была не суждена мужская судьба — он прямо из мальчишки стал Дедушкой. Может быть, Колянчик это знал? Неужели Колянчик предвидел, что угнанный трамвай — последнее Лешкино озорство?

На том конце провода Лешка сострадательно чмокал губами и грустно дышал. Дедушка жалел от души Колянчика и хотел бы сделать для него что-то хорошее, например, достать лекарство, проведать в больнице, привезти продуктов, но ехать старика хоронить было действительно ему слишком сложно, и я пожалел, что послушался Галя и позвонил ему.

Трамвай со Щукинского круга укатил очень далеко. Тяжелая громада жизни сильнее нашей воли, сильнее наших побуждений. Некому догнать — с перекошенным от напряжения лицом — неуправляемую колесную коробку, некому остановить бесцельное опасное движение, некому вызволить из беды и сказать: каждый отвечает за свои грехи сам.

Я слушал Лешку и раздумывал, как бы закончить легче и безболезненнее этот разговор, — я ведь ни в какой мере Дедушке не судья и совершенно не собирался корить его за сгинувшую добрую память.

Но Лешка сам прервал поток жалоб на плохое самочувствие и завал работы, сказав неожиданно:

— Я вот что надумал... Мне с тобой на похороны никак не вырваться... Ну, пойми меня — никак не получается... Мои-то все на даче, ты ведь и меня случайно застал... Если я не приеду к ним сегодня, они там с ума посходят... Предупредить-то я никак их не могу...

— Да я не настаиваю, — перебил я его. — Что ты мне объясняешь...

— Не-нет, ты слушай... Мы с тобой вот как поступим — я со всеми своими бабахами поеду на дачу на электричке, а тебе оставлю машину на площадке у Белорусского вокзала, мы так всех зайцев уберем... И тебе там, в Рузаеве, на машине будет сподручней. Лады?

Удовольствие от найденного решения половодьем затопило необитаемый крошечный островок Лешкиной скорби. Он придумал себе вклад — не какие-то там бессмысленные цветочки, а предметное полезное участие в добром деле проводов и поминовения хорошего человека.

— Дедушка, я ведь не из-за машины тебе позвонил... — слабо начал я возражать, но Лешка не дал мне захватить маленький плацдарм и окопаться.

— А вот эти разговоры для бедных! — деловито и решительно забуркотел он, и его беспомощно-горестные вздохи бесследно исчезли из трубки. — Будь у меня возможность, я бы, безусловно, поехал. Надеюсь, в этом случае ты бы все равно поехал со мной, а не на электричке? Прошу тебя не выдираться...

Галя сказала над моей головой, словно подслушав: — Твоя деликатность иногда становится людям невыносимо тягостной. Не мучай товарища — возьми машину...

Я махнул рукой, а Лешка уже объяснял мне, где будет стоять его «жигуленок» цвета «коррида», госномерной знак 08-98, что документы и ключи будут лежать под ковриком рядом с водительским сиденьем,

ем, а задняя левая дверь будет не заперта на стопорную кнопку, тумблер противоугонного устройства включается на правой панели под щитком...

Технология передачи мне машины полностью захватила Лешку, он вырвался из невыносимой для него роли скорбящего свидетеля и стал деятельным, активным соиздателем и участником ситуации.

Он догнал катящийся трамвайный вагон, залатил за все свое сам и прощально помахивал мне ручкой с остановки — я уезжал дальше.

— Машину сможешь забрать через час, — сообщил он мне, потом затуманился тоном, осел голосом, грустно сказал: — Ты уж от нас от всех поклонись Колянчику.

Помолчал и значительно добавил:
— Я теперь сам дед — многое понимаю...

2

У меня права профессионального водителя. А собственной машины никогда не было. Жалко, конечно. Но сейчас менять что-то поздно. Раньше я не мог купить автомобиль из-за небольшой зарплатой, дефицита на машины, самых различных семейных обстоятельств, из-за занятости на работе, а теперь как-то неуместно — мне кажется, что когда человеку под сорок, то впервые обзаводиться маленькой легковушкой как-то нелепо.

Это Колянчик виноват. Именно он меня еще в молодости сбил с толку оседлой, спокойной имущественно-накопительной жизни. Мне кажется теперь, что за всю жизнь Колянчик не имел ни одной вещи, которую согласился бы приобрести по доброй воле хоть один человек. Как-то очень исподволь внедрил он в меня даже не мысль, а ощущение, что владеть имуществом с определенной стоимостью крайне обременительно, неинтересно и по-своему невыгодно.

У него даже книг не было — всегда он влихивал их разным людям чуть ли не силком: «Обязательно прочитайте, вам это совершенно необходимо!» Готов голову дать на отрез, что многие испытывали скорее неудобство от его книгоношества, ибо ни в какой мере не ощущали необходимости прочитать мемуары викария де Брока о Великой Французской революции. Я говорил ему, что попусту пропадет интересная книжка, а Колянчик ухмылялся, и в левом глазу его была печаль, а правый, вставленный, нестерпимо ярко сиял:

— Может быть, я ошибаюсь, но домашние библиотеки мне кажутся денежными кубышками. Мало кто собирает их для работы или для приятного чтения. Гуттенберг и Федоров-дьяк придумали станок, чтобы книги по рукам ходили. Иначе книги суть часть пошлого интерьера или консервы человеческого духа...

И над мебельными страстями, гарнитурными страданиями он смеялся. Это было время первого взлета массового жилого строительства, множество людей въезжали в новые квартиры, и венцом бытовых воцелений была польская или немецкая «жилая комната». На помойки выкидывали протертые, раскошавшиеся, облупившиеся, прожженные сковородками и угогами столы, кресла, буфеты — из ценного дерева, ручной резьбы, с обрывками бесценного штофа, и ввозили с гордостью и ликованием жилую низкорослую мебелишку из фанерованных стружечных плит.

А Колянчик усмеялся:

— Каждый вещи нужно только пережить критический период — переход из разряда «старых» в «старинные». После этого ее возвращают с помойки, бережно реставрируют, с почетом водружают в красный угол, ею хвастают и гордятся, платят большие деньги. В основном за то, что все остальные старые вещи не дожили до бесплодной почтенности старины. К счастью, люди не бывают старинными. Людям суждено умирать своевременно...

И машины он не любил. Он всюду ходил пешком.

А теперь я мчался на Лешкином «жигуленке» цвета «коррида» хоронить Колянчика. Пружинистое гнущее под колесами шоссе, шипели с подсвистом баллоны, ровным баритончиком гудел мотор. На заднем сиденье дремала или делала вид, что спит, Галя. Я чувствовал исходящее от нее напряжение, я знал, что она хочет спросить меня о чем-то, поговорить или выяснять отношения, но сдерживается из всех сил, полагая: этот разговор сейчас не к месту и не ко времени. Но я точно знал, что от серьезного разговора мне не уйти. Только бы не сейчас, у меня сейчас нет сил с ней спорить, что-то объяснять или доказывать. Потом, хорошо бы потом.

Галя сзади сказала ясным голосом:
— Тебе надо было позаботиться — купить в Москве продуктов — на поминки понадобится...

Я обогнал колонну грузовиков, занял место в правом ряду, прибавил газу и неуверенно сказал:

— Возможно... В смысле продуктов... Наверное, надо было купить... Хотя Колянчик наверняка не хотел, чтобы устраивали поминки... Да и я, если честно сказать, тоже...

— Почему? — удивилась Галя. — Все приличные люди устраивают...

— Это их дело. А мне не нравится...

— Объясни — я не понимаю, что плохого в том, что придут люди почтить память покойного, — спросила нетерпеливо Галя.



— Ничего плохого. Придут с кладбища, скажут пару тостов, хлопнут несколько рюмок, согреются — завеселеют, кто-то вполголоса анекдот травит, про делшки забормотали, а там уже и песню затянули...

— Твой нонконформизм доходит до абсурда! — красиво отбрила меня Галя. — Живые остаются жить, мертвые уходят, это естественно. У живых людей жизнь ведь не останавливается...

— Ну, да, конечно, не останавливается. У чужих живых людей...

— А что же, по-твоему, надо сделать? Объявить по школьному учителю всенародный траур? — с искренним удивлением спросила Галя. — Или у тебя жизнь теперь остановится?

У меня на хвосте тащился зеленый «Москвич», раздражавший меня своей трусливой и нахальной ездой. Он ехал впрытки к моему бамперу и каждые полминуты выкатывался налево для обгона, но, увидев встречные машины, снова юркал за мою спину — вместо того, чтобы сделать решительный рывок вперед, благо дистанция до встречных машин это спокойно позволяла. Но он ерзливо шнырял по шоссе, заставляя меня опасно коситься на него в зеркало заднего вида, поскольку я боялся, что он дернется на обгон в самое неподходящее время и от испуга вышвырнет меня на обочину. И оторваться от него я не мог, поскольку впереди маячил переезд, и гнать сейчас было просто глупо.

Да и мне ли кому-то пенять на недостаток решительности, на неготовность плюнуть на все и помчаться сломя голову вперед!

— Я не поняла тебя, — требовательно напомнила Галя, я ведь не ответил на ее вопрос, а это было своеобразной формой последнего слова в споре, и уж подобно Галя никак не могла допустить.

Я притормозил у железнодорожного переезда и остановил машину в конце длинной очереди, выстроившейся у шлагбаума. Выключил зажигание, и в наступившей тишине мой голос прозвучал неубедительно громко, с вызовом, противно-декламационно:

— Пока человек жив, как ты правильно заметила, его жизнь не останавливается. И моя тоже не остановится. Но она сделала паузу. Перебой...

Эх, тут бы помолчать Гале, все равно уже поднялся полосатый баланс шлагбаума, и машины осторожно, гуськом потянулись через переезд, и мы бы покатались вслед за ними, скорость, гул дороги и суета зеленого «Москвича» за мной отвлечли бы нас. Но ее уже захватил азарт спора и бессмысленная страсть сказать в любом разговоре последнее слово.

Она хмыкнула и сказала:

— У меня возникло сразу два вопроса. Во-первых, что бы ты считал правильным сделать вместо поминок? А потом я хотела бы узнать длину, так сказать, срок этой паузы...

— Галя, ты чего хочешь от меня? Зачем ты достаешь меня? — спросил я негромко и вильнул вправо, ближе к обочине, чтобы пропустить вперед наконец рванувшегося на обгон ненормального «Москвича».

— Я не достаю тебя, — сердито ответила Галя. — Я люблю тебя, и когда стараюсь понять твои странные рефлексии, ты спрашиваешь меня, чего я хочу от тебя. И я бы хотела, чтобы ты мне ответил на мои вопросы.

— Пожалуйста, — кивнул я и почувствовал, как во

мне пронзительно зазвенела злость. — Я хочу, вернувшись с кладбища, не пить водку и трескать блины с селедкой, поддерживая банальный разговор об очень хорошем, хоть и странноватом человеке Коростылеве, а подняться к нему в комнату, лечь на продавленный диван, накрыться с головой и долго лежать в тишине и одиночестве и вспоминать Коляньича, его нелепые поступки, его всечеловеческую доброту, его земляную честность, его невероятные выдумки, я хочу плакать о нем и смеяться до тех пор, пока не усну, и во сне он мне приснится снова живой, и мы с ним последний раз побудем вместе! Это тебе понятно?

И вдруг в памяти снова всплыл — холодком кольнуло в сердце — растрепанный помехами голос Лары по телефону: «...его убили...»

А Галя медленно ответила:

— Это мне понятно. Теперь объясни мне насчет паузы...

И в голосе у нее было что-то неприятное, как у глупых молодых сыскарей на допросе, когда, спрашивая о чем-то, они тоном дают понять: говорить-то ты можешь, что хочешь, но я ведь все равно правду знаю.

— Насчет длины паузы, Галя, я тебе ничего не смогу объяснить. Эти перебои кардиограмма не фиксирует. Они остаются с нами навсегда — как новые морщины, как свежая седина...

Она дождалась, пока машина одолела длинный тягун и надсадный рев двигателя несколько утих, тогда заметила:

— Любопытный ты человек...

— Чем это?

— Если бы я умерла, исчезла, испарилась — так мне кажется, — ты бы этого попросту не заметил. Не то что морщины и седина...

— А мне этот разговор кажется глупым, — сказал я уверенно.

— Наверное, глупый разговор, — легко согласилась Галя. — Главное в том, что, оставшись одной, и вспомнить нечего будет. Что ж мне-то делать?

Сжав зубы, я смотрел прямо перед собой на гибко раскручивающуюся асфальтовую ленту, а с двух сторон к дороге подступал наливающийся сочной зеленью лес, и эта зелень всех оттенков — от почти черных елок до бледно-желтой вербы — гладила глаз, успокаивала, ласкала душу. Глубоко вздохнув, я сказал Гале мирно:

— Не надо сейчас ни о чем говорить... Мы вообще много говорим... Много, значительно, красиво... В этом мало толку...

— А в чем есть толк? — спросила Галя с ожесточением и болью. — Много говорим — нет толку, молчу — ты меня охотно не замечаешь. А в разговорах с твоим учителем был толк?

— Да, был, — твердо ответил я. — Он говорил со мной бесконечно долго, много лет, пока не объяснил мне очень древнюю истину: человек — мера всех вещей...

— И поэтому ты стал милиционером? — сухо усмехнулась Галя.

— Возможно, — пожал я плечами. — Очень может быть, что я именно поэтому стал хорошим розыскником. Я ведь умею в жизни только это...

Голубовато-зеленая даль, рассеченная пополам серым полотнищем дороги, родила на обочине, далеко впереди, черную точку, которая постепенно росла, наливалась площадью, цветом, смыслом. Пока на синем квадрате не проступила отчетливая белая надпись «Рузаево — 16 км» и острая белая указательная стрелка.

Снял ногу с акселератора, вывел на нейтраль, включил мигалку, и в шелестящей тишине раздавалось только четкое тиканье реле, будто отсчитывал своими сплошными вспышками поворотный фонарь оставшиеся мне до последней встречи с Коляньичем мгновения. Я очень боялся посмотреть на него мертвого.

«...Не боюсь я прихода смерти — меня огорчает окончание жизни», — сказал он в прошлый раз, как всегда, сказал печально-весело, со своей обычной непонятной усмешкой — то ли над нами смеется, то ли над собой насмехается.

Я плавно прошел поворот, включил скорость и осатанело погнался по последней прямой. Я мчался так, будто убежал от весты о смерти Коляньича, от утомительных претензий Гали, от себя самого. Галя думает, что она мне надоела, и, ощущая, как я с каждым днем ухожу все дальше, надеется в ближайшем бою, в рукопашной схватке со мной удержать свои позиции.

Как объяснить ей бесполезность наших препирательств? Возможно, ее поведение было бы оправдано с другим человеком — есть же люди, которые сами себе могут заворачивать веки. А я не могу вытерпеть, когда мне в глаз надо капнуть из пипетки. И уж совсем не выношу, когда мне лезут руками в душу — пускай с самыми лучшими намерениями.

Никогда Галя не поверит мне, что дело даже не в ней — я сам себе надоел. По утрам, когда я бреюсь в ванной, мне не хочется смотреть на себя. Смотрю с недоверием в зеркало и с большим трудом уговариваю себя, что этот тип, выплывающий из серебристой

мути амальгамы, — это я и есть. Здравствуй, ненаглядный, давно не виделся. Тыфу!

Один мой знакомый придурок, выдающий себя за экстрасенса, утверждает, что когда я в плохом настроении, то вокруг меня черное поле. Милые глупости, прелестный таинственный лепет инфантильных взрослых людей, редко встречающихся с серьезными жизненными драмами. А я несколько перебрал их в последнее время. Может быть, я просто устал. Переутомился душевно. Положительных эмоций маловато.

А теперь умер Коляньич.

И жизнь, не спрашивая моего согласия на переговоры, выставила мне грубое требование: давай, старина, подумаем, посчитаем и прикинем, как будем жить дальше. Нет больше Коляньича, не к кому будет приехать в душевной потерянности и сердечном смятении и спросить:

— Ты на фронте убивал людей?

А зрячий его глаз был прищурен, ярко-синий стеклянный протез смотрел слепо на меня в упор, и голосом сиплым, тихим сказал он:

— Да... Эти люди пришли, чтобы уничтожить здесь все, что дорого моему сердцу... Я видел, что они вытворяли... Когда мне оторвало руку, уже в госпитале, в бреду, в горячке мне снился все время невыносимый сон — огромная серая крыса, крыса-носорог, отгрызает мне руку... И навсегда осталось впечатление, что все злобное насилие мира, его прожорливая алчность — это гигантская крыса, которую нельзя убедить, умиротворить... Ее можно только убить...

Я был тогда в тоскливом оцепенении и душевной разрухе, потому что стоило мне смеяться веки, как я видел косые столбы света между стропилами чердака, мелькающую в них фигуру Саидова, размытую синими тенями, и силуэт его каждые несколько секунд вспухал багровым просверком выстрела, и когда пуля попадала в кирпичи, раздавался визгливый скрежещущий треск, и на лицо сыпалась мелкая красная пыль, а жестяная кровля бухала покорно и утробно, как пустое корыто. У меня оставалось всего два патрона, потому что остальные я глупо потратил на предупредительные выстрелы вверх, хотя было ясно, что бандит и насильник Саидов, силач и каратист, не бросит пистолет и не поднимет покорно руки. И в это время пришло какое-то странное спокойствие, похожее на оцепенение, — я очень отчетливо, как будто вне своего сознания, вдруг понял, что, если я промахнусь, Саидов обязательно убьет меня и снова уйдет — возможно, на годы. В последний раз, когда его этапировали в наручниках из Ростова, Саидов на вокзале, дождавшись проходящего товарняка, вдруг в невероятном прыжке сбил ногами конвоиров и со скowanными руками прыгнул на площадку несущегося мимо пульмана — и ушел. Огромная жажда жизни гигантской злой крысы.

Затаился я за дымоходом, опер кисть правой руки с пистолетом на гребень левой и замер, дожидаясь следующей перебежки Саидова, потому что знал: он побегит первым, у него нет времени ждать, пока ко мне подойдут на подмогу. И путь у него был только один — к слуховому окошу, последнему у глухой стены брандмауэра.

И, прислушиваясь к стесненному дыханию Саидова, притаившегося от меня в пяти метрах, я с режущей остротой понял, что такое уже было в моей жизни, что происходящее сейчас на пятом этаже окраинного старого дома уже случилось со мной когда-то, что происходит ужасная реконструкция бушевавших в детстве игр, где мы убили друг друга пронзительными криками «пах-пах», «та-тат-та», а сейчас жизнь и моя служба, мой долг и ответственность перед людьми, ничего не ведающими об этом, вдруг вернулись меня в детское воспоминание, но впереди за каменным простенком не мой сосед, мальчишка-одноклассник, а убийца, зверь, истязатель, и он не станет мне кричать «тах-тах», и я навсегда убежал из прошлого, и не человек я сейчас, а только приклад к своему черному тяжелому пистолету системы «Макаров».

И всё, вложенное в меня долгими годами Коляньичем, все наши нескончаемые беседы бесследно истаяли — я забыл всё, и, кроме страстного стремления попасть в зверюгу в момент его броска, я ничего больше не чувствовал. Откуда-то с закраин памяти пришло жуткое воспоминание — грязная маленькая комнатка, забрызганная почти до потолка кровью, съезжившийся маленький труп в углу, отпечатки ладоней Саидова на стене — черно-красные жирные кляксы на блеклой клеевой покраске. Фотоснимки сброшенной с поезда женщины. Трясающиеся, словно контуженные недавним страхом свидетели нападения на сберкасса в Дегуине.

Саидов зашевелился, зашебуршал в своем укрытии, и я понял, что йогская способность останавливать дыхание — это не выдумка. Я не дышал, я ждал, потому что сообразил: он подманивает меня, не станет он шуметь перед броском. Но в косом луче солнечного света, пронизанном дымящейся пылью, мелькнула тень, быстро удаляющаяся в сторону окна. Слишком быстро.

Я чуть подался вперед, но вовремя остановился — тень с хрустом рухнула на шлак. В полумраке я

успел разглядеть, что это большая бельевая корзина, которую кинул перед собой Саидов в расчете на мой немедленный рывок, и тогда бы он снял меня влет. И почти сразу же с пронзительным визгом, воем, звериным ревом он выскочил из-за поперечной балки и рванулся на прорыв — на меня, через меня, по мне — к слуховому окну, к своей крысиной сибоде.

Чуть взмокший от напряжения указательный палец, живший от меня совершенно отдельно, будто он принадлежал кому-то другому — настолько я не чувствовал его, — вдруг сам по себе стал плавно сгибаться, сминая упругое сопротивление спускового крючка, и выстрела я не услышал и в первый миг не понял, почему подпрыгнул вверх Саидов, будто его ударили с размаху доской в грудь. Только в кино я видел до этого, как падают убитые. Там это все происходило долго, картинно, умирающий еще делал несколько шагов и успевал сказать что-то значительное. А Саидов умер мгновенно. Из своего странного прыжка он резко завалился головой назад и тяжело рухнул на шлак. Его пистолет отлетел далеко в сторону, но я не сразу решился подойти к нему — не верил, что этот неуловимый бандюга мертв. Оседали клубы пыли, где-то внизу засигналила милициска сирена, а здесь все было тихо. Я переложил пистолет в карман, поднес руку к лицу и с испугом подумал, что вот этой самой рукой я только что убил человека. И охватила меня ужасающая тоска — страшное чувство, будто кто-то взял в ладонь твое сердце и несильно, но властно сжал его. Вся кровь вытекла из него, а новая не втекла, и полнейшая пустота поглотила, обьяла беспросветная чернота, словно я провалился в бочку с варом.

Мне было тогда двадцать пять лет.

И, угадывая эту тоску и отчаяние, страх неверно угаданного призвания, Кольяныч сказал мне:

— Сынок, ты выбрал себе судьбой войну... Эта война будет идти и через века, когда о других войнах люди на земле забудут... Она всегда будет справедливой, потому что должна защитить мирного человека от зла и хитроумия плохих людей... А злые люди, к сожалению, будут жить и через века... Поэтому тебе выдали оружие...

Да, я сам выбрал себе судьбу. Но перед этим много лет подраб Кольяныч в самых разных ситуациях, по самым разным поводам и в самых разных сочетаниях примеров пояснял: мир жив и будет жить до тех пор, пока есть люди со странным призванием — один за всех... А теперь он умер.

Нелепо называть предместье Рузаева пригородом. В городском титуле самого-то Рузаева было предостаточно самозванства, и обязан он был городским званием консервному заводу, паре текстильных фабрик и кирпичной четырехэтажной деревне в центре — с обязательным комплексом из Дома быта, Дома торговли и Дома связи.

И все-таки пригород был — остаток старого, нереконструированного Рузаева — бывшее мещанское предместье, составленное из аккуратных домишек с резными наличниками, лавочкой у ворот и густыми зарослями бузины и рябины вдоль заборов. Перед домами сидели старухи, придвинув к самой обочине жестяные ведра с букетами пышной сирени и стеклянные банки с нарциссами и первыми тюльпанами. У старух был такой отрешенный вид и они всегда настолько высокомерно отказывались сбавить цену на свои цветы, что у меня давно возникла мысль, будто они и не хотят их продавать. Просто так сидеть сложа руки неприлично вроде бы, пускай думают эти странные люди в пронсящихся по дороге машинах, что они присматривают за цветами. А чего за ними присматривать? Кто их тут возьмет, кому они нужны? Ведь город и так тонет в клубах душно-сиреневой, густо-фиолетовой, серебристо-белой сирени.

Перед перекрестком у ярко-зеленого забора сидела бабка-горбушка с резко вырубленным лицом тотема с острова Пасхи. Настоящая Аку-Аку. Я плавно притормозил у ее ведер, чтобы не засыпать придорожной пылью, вылез из машины и нисколько не удивился, что бабка в мою сторону и глазом не повела.

— Сколько стоят ваши цветы?

— Два рубля, — величественно сообщила старуха.

— Мне много надо... — неуверенно начал я.

Бабка не спеша оборотила ко мне свой каменный лик — ее, видно, удивило, что я покупаю много цветов, направляясь в Рузаево, а не в Москву.

— А на что тебе много? — спросила она и пронзительно вперилась в меня. — На праздник едешь? На свадьбу?

— На похороны, мать...

Старуха тяжело вздохнула, и вздох будто бы размягчил ее жесткое лицо.

— Наш, рузаевский, опочил?

— Ваш... Он был много лет директором школы...

Коростылев его фамилия... Может, знали?

— Издала... Мы тут все друг друга знаем... Мои у него не учились... Раньше кончили, а внуки уже в городе в школу пошли... Каждый год летом сюда приезжали... А ноне не приедут... На море, говорят, поедут... Чудно! На море! Чем тут плохо-то?.. Я вон года свои выжила, а море так и не видала...

Говоря все это, она бережно сливала из ведер воду,

осторожно достала пышные охапки цветов, протянула мне:

— На, держи... А я пойду... — Потом с интересом взглянула мне в лицо: — А ты-то кем доводишься покойному? Сыну?..

— Как вам сказать... Ну, вроде бы... Ученик я его...

— Да-а? — удивилась бабка и решительно трянула головой: — Хорошо, значит, дед жизнь прожил, коли хоть один ученик проводить явился...

— Он хорошо прожил жизнь, — заверил я. — Сколько я вам должен?

— Нисколько, — хмыкнула бабка. — Мне уж самой скоро не деньги, а цветы надобны будут...

Я сел за руль, и Галя спросила:

— О чем ты с ней так долго говорил?

— О цветах... О Кольяныче... О жизни...

Галя поджала нижнюю пухлую губу и грустно пожаловалась:

— Ты готов говорить о цветах и о жизни с незнакомой дикой старухой... Со мной не хватает терпения и времени...

Дорога помчала на взгорок — в конце улицы уже был виден дом Кольяныча.

— Галя, мне кажется, что ты не хочешь говорить со мной о жизни, а хочешь заставить меня воспринимать жизнь по-своему... Вообще, по-моему, происходит ошибка — ты любишь вовсе не меня, а совсем другого человека и страдаешь оттого, что я никак не становлюсь на него похожим...

— Может быть, дорогой мой... Во всяком случае, такие банальности начинают говорить перед расставанием... Дело в том, что твоя профессия идеально наложила на твой характер, и ты превратился в одинокого волка — тебе никто не нужен...

— Разве? — искренне удивился я. — Я этого раньше как-то не замечал.

— Уж поверь мне! Беда в том, что ты людей не любишь, к каждому ты предъявляешь невыполнимые требования. И от этого мне так тяжело с тобой! Я человек открытый, я люблю людей...

Я резко затормозил машину, так что у Гали мотнулась голова и она не смогла завершить свое гуманистическое выступление. Выключил зажигание, отворил дверцу и сказал ей:

— Я думаю, что говорить «я люблю людей» так же пошло и глупо, как заявить, что «я умный и бескорыстный человек». Люди не вырезка с грибами, и любить их — ежедневный труд души, страдание и служение им. А не кокетливая болтовня! За всю жизнь я не слышал от Кольяныча ни слова о его любви к людям. Все, пошла.

У калитки стояла какая-то женщина, которая сразу сказала:

— Опоздали вы маленько — Николай Иваныч из школы хоронили... Вы прямо на кладбище поезжайте, может, поспеваете до схоронения... Лариса сказала, что на поминки часа в два вернутся... А вы знаете, где кладбище?

— Знаю, спасибо...

Я вернулся к машине, и тут разнесся протяжный визг, острый, высокий вой, гневный лай, опадающий в жалобный, тонкий скулеж. Барс. Это Барс услышал и узнал мой голос.

— А где собака? — спросил я женщину.

— В доме пока заперли, — вздохнула тяжело она. — Жалко пса, прям как человек убивается... В сенях его пока оставили, а то бы на кладбище побежал... Не дело это... Как все вернется — выпустим... А времени пройдет сколько-то, глядишь, привыкнет пес... Дети родные — и те привыкают... Все привыкают... Мертвого-то не воротить...

Я взбежал по ступенькам, распахнул дверь, и Барс черным лохматым комом вывалился мне навстречу, встал на задние лапы, лизнул жарко в лицо, тяжело дыша, забил тугой метлой хвоста по струганым доскам крыльца.

— Куда вы его? — закричала женщина. — С ним Ларка и та не может справиться! Убежит он теперь...

— Некуда ему бежать, — сказал я. — Поехали со мной, Барс...

Барс улегся на заднем сиденье, свернулся клубком, засунул морду под лапы и замер. А я погнал машину обратно — через безлюдный центр, через Приречье и Маросановку — к кладбищу.

По всем статьям Барс мог бы сойти за овчарку, если бы не вялые уши и загнутый кренделем вверх хвост. Нисколько лет назад этот симпатичный беспород прибулдился к Кольянычу и остался навсегда. Тогда еще я спросил Кольяныча, почему он раньше не держал собаку.

— Раньше не мог себе позволить, — усмехнулся он. — А теперь могу...

— Почему? — удивился я.

— А она теперь со мной на всю жизнь — до конца. Обычно люди, когда берут собаку, не задумываются над тем, что почти наверняка переживут ее. А собака не ступ, не костью. Вместе с ней потеряешь часть себя. А теперь все по-настоящему — никому не ведомо, кто из нас кого провожать будет...

Вот и вышло, как он хотел — Барс его провожает.

Опоздали мы на похороны. Подъехали к воротам кладбища, а оттуда люди уже выходят. Много стариков, много детей в школьной форме. И множество каких-то не распознанных мною людей в одинаковой одежде и с одинаковыми лицами — мне всегда толпа у гроба кажется неразличимой. Только старики и дети запоминаются, они ни на кого не похожи, каждый сам по себе.

Я оставил Барса в машине, и мы с Галей прошли по единственной аллейке кладбища, почти до самого конца, туда, где за невысоким забором густо разрослись осоки и вербы и далеко видна утекающая к югу река.

Холм из цветов и жестяная табличка «Николай Иванович Коростылев, 73 лет». Пригорюнившаяся, с сухими глазами стояла Лариса, опираясь на дебетое плечо своего Владилена, дежурно-огорченное лицо которого никак не могло скрыть бушующих в нем жизненных соков. Понурые, уставшие от неприятной и не очень понятной им печальной процедуры, ковыряли носками ботинок песок двое их мальчишек.

И незнакомая мне совсем молодая женщина в черном платье.

Владилена, истомленный ролью скорбящего родственника, откровенно обрадовался мне, замахав рукой, и в его гостеприимно приглашающих жестах было облегчение человека, получившего возможность размять затекшие конечности.

— Жалко, очень жалко старика, — сказал он мне физкультурным голосом и разумно-рассудительно добавил: — Да ведь сам вместо него не ляжешь...

И по тому, с каким деятельным интересом он смотрел на стоящую за мной Галю, было ясно, что он не только сейчас не собирался лечь под жестяную табличку вместо Кольяныча, но и вообще мысль о возможности собственной смерти в будущем кажется Владиле совершенным абсурдом.

Лара медленно, будто спросонья, повернула к нам голову, долго смотрела на меня, словно припоминала, кто я такой, потом сделала неуверенный шаг навстречу, уткнулась мне лицом в грудь и тихо заплакала. И сквозь всхлипывания я слышал ее тихие причитания:

— Как же можно так... Он ведь в жизни мухи не обидел... Он добрый... Боже мой, какое зверство...

Я не мог понять, о чем она говорит. И спросить сейчас не мог. Просто обнимал за плечи и тихо гладил по спине. Охапки подаренной мне бабкой сирени упали на дорожку, и неловко переминавшийся Владик наступал своими желтыми мокасинами на сочные гроздьи фиолетово-синих цветов.

— Поехали, Ларочка, домой, — сказал я. — Потом поговорим...

— Да-да, Ларок, надо ехать, — готовно подхватил Владик. — Слезами тут не поможешь, а дома надо еще оглядеться, все проверить — люди ведь званы, помануть надо отца добрым словом... А со Стасом потом поговорим, я ему сам расскажу...

Лариса молча кивнула — она всегда со всеми, со всем соглашалась.

Стоявшая с ними женщина в черном вдруг резко сказала:

— Владилена Петрович, вам, наверное, действительно надо взять детей и ехать домой. А поговорить следует сейчас...

— Пожалуйста, — пожал он своими круглыми, пухлыми плечами. — Не понимаю только, почему сейчас? Отца нашего никаким разговором уже не возвратишь, а дома люди званы... Надо, чтобы было все, как водится у приличных людей...

— Наверное, — сказала женщина и скинула с головы черный кружевной платок. — Но скорее всего один из этих приличных людей и загнал его сюда...

И показала пальцем на жестяную табличку «Николай Иванович Коростылев».

Владик набрал в обширную грудь воздуха, сокрушенно громко вздохнул и возвестил присяжно-поверенно:

— Наденька, как все молодые люди, вы максималистка! Из-за одного затаившегося мерзавца не можем же мы подозревать всех людей, окружавших Николая Иваныча!

Я молча слушал их, и в голове тонко вызванивало: «...его убили... он умер от инфаркта...» Но я не перебивал их и не задавал вопросов, потому что я профессионал в человеческом горе, и профессия моя начинается с терпения. Адский жар терпения выжигает всего сильнее душу, она сохнет постепенно, трескается, стареет. Сыщик начинается не с хитрости, быстроты и храбрости. Розыск ответа на любую загадку начинается с терпения.

А Гале ненавистно всякого рода терпение. И неясность своего положения и роли. Поэтому она выступила вперед и, давая сразу понять, что она мне человек не чужой и, естественно, им таким образом свой, сказала своим мягким, сострадательным голосом, не допускающим никакого отказа:

— Стасу надо объяснить, в чем дело... Мы же ничего не знаем... Стас, безусловно, сможет...

Я не дал ей договорить:

— Минуточку... Все идут домой... Галя, помоги там Ларе, чем сможешь... А мы с Надей задержимся ненадолго... Мы вас скоро догоним...



Пережив мое предложение как новое, ничем не спровоцированное оскорбление, Галя, тряхнув своими прекрасными волосами, взяла Лару под руку и повела к воротам, мальчишки побежали вперед, а Владик степенно зашагал следом. Стихали постепенно их шаги, громче заголосили птицы в кронах старых деревьев, истончался, исчезал сочувственно-соболезнующий голос Гали, успокаивающий Лару ненужными словами, и почему-то эти отдельно доносившиеся слова казались мне похожими на мято-желтые пятна солнца, с трудом прорвавшиеся сквозь густую зелень, дрожание, бесформенные, обманчиво недостоверные, как нелепые разводы на маскхалате.

Здесь остро пахло сырой глиной и перепрелой хвоей.

Я обернулся и увидел, что Надя складывает оброненные мной цветы, помятые толстыми ногами Владика, на могилу Коляныча. Она выпрямилась, посмотрела на меня и, угадывая незаданный вопрос, сказала:

— Я вас хорошо знаю, я вас много раз видела у Коростылева. Вы меня не запомнили, я девчонкой тогда была... Вы приехали первый раз девять лет назад.

— Да, давно это было, — кивнул я. — Приблизительно лет девять-десять назад.

Она покачала головой:

— Не приблизительно, а точно — девять лет назад. В июле это было...

— А почему вы это так точно запомнили? — спросил я из вежливости.

— Потому что я в вас сразу влюбилась. Мне было четырнадцать лет, и никогда до этого не видела более интересных людей...

— Занятно, — усмехнулся я. — За прошедшие годы у вас была возможность убедиться во вздорности детских увлечений...

Она ничего не ответила, и поскольку пауза угрожала затянуться, я быстро сказал:

— Последнее время меня преследует странное воспоминание... Я пришел в зоопарк и в клетке между вольерами пантеры и тигра увидел собаку. Обычную собаку, дворнягу. Тогда я поглазнул на нее и ушел, а теперь все чаще думаю: что делала в клетке между пантерой и тигром дворняга? Что должна была изображать в зоопарке нормальная простая собака? Надя покачала головой:

— Не понимаю...

— Я и сам не очень понимаю, — махнул я рукой. — Я ощущаю себя собакой, попавшей по недоразумению в клетку зоопарка.

Она повернулась ко мне, и я первый раз внимательно рассмотрел ее лицо — очень тонкое, смуглое, с родничкой над переносьем — как каменная «тика» у индийских женщин. Красивая девушка, ничего не скажешь...

— Удивляюсь, что я вас не запомнил, — сказал я. — Мы в соседнем доме жили... Когда вы приезжали, я смотрела на вас через забор и подслушивала, о чем вы с Коростылевым разговаривали... Да что там! Все утекло...

Из нагрудного карманчика она вынула сложенный серый лист и протянула мне:

— Посмотрите...

Развернул лист — телеграмма. На сером бланке наклеены белые бумажные полосочки, покрытые неровными рядами печатных букв. Я пытался вчитаться в текст, но ужасный смысл слов, их злой абсурд не вмещался в сознании.

Неровные черные букочки, похожие на муравьев, елозили и мельтешили на белых дорожках бланка, прыгали и перестраивались, пока не замерли на миг — и брызнули в глаза нестерпимым ядом ужаса и боли...

«РУЗАЕВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАГОРНАЯ УЛИЦА 7

КОРОСТЫЛЕВУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ
ВЧЕРА ВАША ДОЧЬ ЗЯТЬ ВНУКИ ПОГИБЛИ АВТОКАТАСТРОФЕ ГОРОДЕ МАМОНОВЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. ТЕЛА НАХОДЯТСЯ ГОРОДСКОМ МОРГЕ. ВЫЕЗЖАЙТЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ зпт ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА. ПРИСКОРБИЕМ

ПРОНИН»

Я прочел еще раз телеграмму, и снова, и еще раз, но ощущение контуженности, полного разрыва с реальностью не проходило. Гудело в голове, слова прыгали перед глазами, как желтые солнечные блики на густой листве.

— Что это такое? — растерянно спросил я.

— Его убили этой бумажкой, — тихо сказала Надя. — Он прочел телеграмму при почтальоне и сразу потерял сознание. Успели довести до больницы, через час умер...

— А Лариса? — задал я бессмысленный вопрос.

— Они приехали на другой день. Ни о чем не подозревая. Они на машине возвращались из отпуска...

Грустный хаос поминок. Оцепенело сидел я за столом, слушал, что говорят, внимательно смотрел на этих людей, которых никогда раньше не видел, а Коляныч прожил с ними рядом много лет, дружил с ними, помогал, учил, и, судя по всему, они его уважали, ценили и любили.

А кто-то один взял и убил его. Зачем? Почему? За что?

В том, что этот человек сидит сейчас с нами в печальном застолье и поминает добрым словом безвременного ушедшего от нас Николая Ивановича, я не сомневался. Конечно, не тот, что несколько дней назад подал в окошечко телеграфа смертоносный бланк, уплатил полтора рубля, получил квитанцию на точный выстрел в цель за тысячу верст и исчез после этого во тьме неизвестности. Он был далеко и мне сейчас неинтересен...

— Возьмите еще блинчик...

— Что? — обернулся я и увидел, что женщина, встречающая меня давеча у калитки и сторожившая Барса, протягивает мне глубокую плоскую с блинами.

— Блинков, говорю, возьмите еще... Вы поешьте маленько, а то стоит у вас тарелка нетронутая... А блины у нас замечательные — кружевные, тоненькие. Сейчас такие не пекут — все торопятся, некогда! Толстые да клеклые, одно слово — «бабья лень»... Вы этот блинок в сметану мокните да селедочки пару кусков в него заверните — объеденье получится...

— Спасибо большое... Я потом возьму...

Нет, отправитель телеграммы мне понадобится потом. В конечном счете он только пуля, разорвавшая сердце Коляныча. Последнее звено в сложном механизме убийства. Должен быть ствол, из которого полетела эта пуля, необходим прицел-мушка, обязательно есть курок. Кто-то из присутствующих на поминках людей — друзей, соседей, знакомых, сослуживцев — часть системы, убившей Коляныча. В этом я был твердо уверен.

... Не кушайте вы ничего... — Та же женщина смотрела на меня горестно. — Покушайте чего-нибудь, вам силенки еще понадобятся. И выпить надо хоть стаканчик — хмель горе жидит, боль размягчает...

— Спасибо, не могу я сейчас...

— А вы через «не могу», потому что надо... Я знаю, что вам горько сейчас, уважали вы его сильно. Да и он вас любил заочно. Я знаю, говорил он о вас часто. Я ведь соседка, к покойнику Николай Ивановичу часто ходила, последние-то годы Лара редко с Москвы наезжала, считай, бобылем он прожил. А меня Дуся зовут — слышали от него, наверное?

— Слышал, — кивнул я. Не мог я вспомнить никаких разговоров о Дусе, но огорчать ее не хотелось.

А она, обрадованная найденной между нами человеческой ниточке, продолжала ухаживать за мной:

— Вы рюмочку выпейте и закусите салом, гляньте, сало какое — в Москве такое не сыщешь, розовое, мясное, с «любовиночкой»...

Галя, сидевшая рядом с Ларисой, уже подружилась с ней на весь остаток жизни, утешала ее, опекала, обнимала за плечи, чего-то шептала на ухо — видимо, учила жить. Галя выступала в своей коронной роли — помогала людям, сострадала и соучастствовала не в празднике, не в победах и успехах, это-то каждый холявщик горазд, а протягивала свою твердую руку помощи и поддержки в беде и горе. Надежную руку, не сомневающуюся в своей необходимости. И так она

была поглощена своим участием в чужой беде, что не приходило в голову взглянуть на Ларкино лицо — слепое, плоское, мертвое.

В комнате было очень душно. Толстый человек напротив меня достал кожаный портсигарчик и постукивал нетерпеливо по столу, не решаясь закурить здесь и не зная, удобно ли уже встать из-за стола. Удивительно было видеть на этом огромном торсе розовое детское лицо в круглых очках.

Полнокровное лицо взрослого старшеклассника туманилось выражением неуверенности, застенчивой робости, сомнением в праве на какой-нибудь самостоятельный поступок. Сквозь круглые стекляшки бифокальных очков выглядывали время от времени растерянные глаза с молчаливым вопросом, почти просьбой: вам будет неудобно, если я скажу? Я вас не побеспокою своим поступком?

Справа на него наседали, все время что-то объясняли и поучала крупная белая женщина, похожая на говорящую лошадь. Она что-то требовала от него, уговаривала, доказывала. А он вяло отбивался, я слышал его тягучий, чуть гундосый голос:

— Фатит... Екатерина Сергеевна... от-то... фатит... я все сам знаю... для учителя это необходимо как флэб насущный... от-то... значит... Екатерина Сергеевна... от-то...

Мне отпущение и аз воздам. Я должен восстановить, реставрировать, воспроизвести смертоубийственную конструкцию. Дело в том, что я профессионал. И точно знаю, что люди руководствуются, как правило, набором достаточно стандартных побуждений и владеет ими диапазон однородных страстей. Просто в каждом отдельном преступлении они приложимы к самым разнообразным ситуациям и оттого кажутся непостижимо многоликими и загадочными.

Для меня всегда самое трудное, самое важное — понять, ЗАЧЕМ это сделано. А точное понимание цели преступления позволяет представить технологию, его образующие элементы. И определяет выбор моих средств, поскольку бульдозер не свищишь отверткой для часов, а компьютер не разбирают газовым ключом.

Тот, кто сладил самострел на Коляныча, наверняка должен быть здесь. Человек тридцать скорбящих, горюющих, соболезнующих гостей. Один из них неискренне. И все мне не знакомы.

Крупная белая женщина оставила своего толстяка, встала с рюмкой в руке:

— Дорогие товарищи! С болью в сердце и в голове мы узнали о кончине нашего дорогого Николая Ивановича Коростылева. Мне выпало большое счастье работать в школе, которой когда-то руководил ушедший от нас Николай Иванович. — работать под его началом и руководством, а потом, когда он по состоянию здоровья перешел только на преподавательскую работу, быть завучем в этой школе и пользоваться его поддержкой, дружескими советами, использовать его богатейший опыт...

Я быстро оглядел сидевших за столом — многие смотрели прямо перед собой или куда-то в сторону, рассеянно ковыряли вилками в тарелках, и повисло между ними какое-то странное отчуждение, словно к ним обращался не живой человек в застолье, а слушали они официальную трансляцию по телевизору. Но сидели все тихо, оставляя мне решить самому — уважение ли это к памяти покойного или дисциплинарный авторитет завуча.

— Сейчас, когда мы все нацелены на успешную реализацию школьной реформы, нам особенно важно освоить опыт и наследие Коростылева, — продолжала говорить в своем стеклянном отчуждении завуч.

Толстяк напротив беспомощно тербил свою кожаную папиросницу. Я перевел взгляд направо — у двери в торце стола Надя смотрела на Екатерину Сергеевну с нескрываемой ненавистью.

— Выпьем за светлую память Николая Ивановича и поклонемся свято пронести через жизнь его педагогические и жизненные заветы...

Не глядя на завуча, все выпили, а я, не дожидаясь, пока встанет следующий с тостом, сказал толстяку:

— Идемте на воздух, перекурим по одной...

Он растерянно заметался глазами, несмело покосился на говорящую лошадь-завуча, потом робко оценил меня взглядом — могу ли я ему разрешить встать, и я, не давая Екатерине Сергеевне одернуть его, твердо сказал:

— Идите, идите, можно...

Толстяк выросал из-за стола, как вулкан из моря — аморфно и поднебесно. В нем была добрая сажень. Деликатно топчась, он продвигался к выходу, стараясь спиной показать, что он никому не помешает, что он только на минутку, чтобы никто по возможности не обращал на него внимания. Правда, не заметить эту спину было невозможно, это была не спина — огромный спинальный отдел.

Мы выползли из дома. Здесь бушевал ярко-окрашенный, звонко озвученный день — конец весны, начало лета. Я вспомнил, как Коляныч говорил: не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение. А сегодня погода замечательная, да настроение больно скверное.

На улице неподалеку от дома стояли несколько парней и девушек. Их красные мопеды «Ява» валялись на траве приоткрытыми коньками-горбунками. Хрипло и мелодично орал магнитофон. Ребята смеялись. Жизнь продолжалась.

Жадно затаившись папиромой, толстяк сказал: — От-то, значит, молодежь современная коровам фосты крутить не фочет...

И я не понял, радуется он или огорчается тем, что молодежь не хочет крутить коровам хвосты. Громадный дядька с детским лицом и детской нетвердостью звуков.

— Давайте знакомиться,— сказал он застенчиво.— Нам все равно надо будет разговаривать. Я директор школы, меня зовут Юшминальд Андреевич Бутов...

— Как-как?— переспросил я.
— Да имя у меня глуповатое— я родился во время челюскинской эпопеи, а тогда мода была на сокращения всякие,— говорил он, рдея всей кожей, я боялся, что от смущения вспыхнут его редкие белокурые волосы.— Юшминальд значит «Отто Юльевич Шмидт на льдине»... Меня друзья зовут Юшей...

Я пожал ему руку и удивился вялости его ладони—большая, холодная и влажная, как остывший компресс. Мы уселись на скамейку, и я смотрел, как он с жадностью курит. С конца папиромы вился слоистый прозрачный синий дымок, а из сложенных бантиком губ выпускал Бутов темно-серую густую струю, и своей бело-розовой огромностью, иллюминаторами очков, поднимающимися дымами был он похож на отдыхающий у пристани париход.

Поглядывая на веселящихся за забором молодых людей, Бутов печально усмехнулся:

— Сколько насмешек, сколько страданий я вытерпел в молодости из-за своего нелепого имени... Сейчас смешно, а тогда было больно...

У него во рту было много языка, и слова получались нечеткими, кашеобразными, еще сильнее увеличивали впечатление, что он огромный пятидесятилетний ребенок. Мне было легко представить его в штанишках-гольфиках, с бантом на шее.

— А что ж вы терпели?— спросил я для поддержания разговора.— Сменили бы имя через загс—и конец страданиям...

Он робко выглянул из-за кругляшей иллюминаторов:

— Вы думаете? Может быть... Но мне кажется, это неудобно. Неловко как-то... от-то... В этом было бы определенное моральное самоуправство...

— А в чем самоуправство?— искренне удивился я.

— Не знаю, от-то, может быть, я не прав, от-то, но мне думается, что в имени каждого человека, от-то, есть связь поколений, так сказать, продолжение семейной традиции, от-то, знак родительской надежды в судьбе их детей... От-то... В странных сейчас именах, которые давали моему поколению, был высокий, иногда необоснованный идеализм, пафос героической эпохи, в которую жили и умерли наши родители... От-то...

— Может быть,— осторожно согласился я и поблагодарил в душе родителей, что они не назвали меня, как моего одноклассника Рысакова, производственно-экономическим именем Индустрий.

— А вообще-то дело не во вкусах наших родителей, а в нас самих,—махнул рукой Бутов.— Мое имя никого не сместило бы, коли я высадился на самом деле на льды Северного полюса или полетел в космос. Имя становится смешным, когда оно не соответствует владельцу... От-то...

— А мне сдается, что вы заняты делом вполне героическим...

Бутов тяжело вздохнул:

— Дело-то наверняка героическое и очень высокое... От-то... Вот боюсь только, что я не на уровне своего дела...

Я серьезно спросил его:

— Вы разве считаете себя неквалифицированным специалистом?

— Как вам сказать... Не могу я руководить людьми... От-то... Не умею... Все надеялся, что привыкну... Я ведь и раньше просил, чтобы оставили мне часы по математике, и дело с концом, не директор я... Просил, чтобы Екатерину Сергеевну назначили... От-то... А теперь эта ужасная история с Николаем Ивановичем... Ведь не скроешь от людей, отчего умер он... Представляете, какие это будет последствия для коллектива—разговоры, пересуды, подозрения... От-то... Подумать страшно...

— Я вас не понял,—отсек я его от сетований.— А почему надо скрывать от людей? По-моему, все должны знать об этом!

— Зачем?—ужаснулся он.— Если бы можно было найти и как-то наказать злодея, то это, возможно, имело бы какой-то воспитательный смысл... А так? Вы-то уедете, а как я буду умиротворять все эти страсти?

Я помолчал, поковырял прутиком в песке, потом спросил его:

— Почему вы решили, что этого злодея нельзя найти?

— Потому что никто не может понять, что это такое—мести, желание досадить, напугать или это

был просто хулиганский розыгрыш дурацкого шутника-мерзавца. Как это понять? Кого искать? Где?

— Вот весь круг намеченных вами вопросов и надо выяснить...

— Кто это может сделать? Я? Екатерина Сергеевна?

Судя по всему, завуч Екатерина Сергеевна была его не реализованной в жизни героической сущностью—опорой, советчицей, руководительницей.

— Вы в милицию уже обратились?—спросил я.

— Да, конечно, я сразу позвонил. Начальника городского управления нет, я говорил с Зацаренным... Он заместитель по розыскным делам, интеллигент, милый человек, я его хорошо знаю... От-то... Он говорит, что это казусный случай, мол, невзирая на сложность отыскания виновного, это якобы практически маловероятно, но и пойманного очень трудно будет привлечь к суду... Зацаренный говорит, что нет в кодексе соответствующей статьи...

— Есть такая статья,—заверил я Бутова, встал со скамейки и сообщил:—Значит, ситуация обстоит следующим образом: я отсюда не уеду, пока не вытащу за ушко этого мерзавца. И, честно говоря, меня ваши беспокойства мало трогают. Я уверен, что, не выставив на всеобщее обозрение затаившегося подлеца, не представив на человеческий суд убийцу, мы с вами дальше жить не имеем права. Во всяком случае, нам нашим профессиональным делом не следует заниматься, если этот ползучий гад останется безнаказанным...

— Я был бы счастлив вам помочь... От-то... Всем, чем смогу. Хотя не представляю, как вам это может удалиться,—потерянно моргал Бутов.

— Это не ваша забота... Мне нужно только, чтобы вы прояснили обстановку в педагогическом коллективе. И прошу от вас полной искренности, прошу вас помнить, что я не проверочная комиссия, мне нужна только правда...

— У меня нет оснований быть с вами неискренним,—обиженно забормотал, зажевал во рту свою нескончаемую кашу Бутов.—Я всегда говорю только правду.

— Не сомневаюсь в этом нисколько. Но одной правды мне мало, мне нужен вдумчивый анализ математики и душевное страдание однопольщика...

— Вы думаете, мне не жаль Коростылева?—жалобно спросил Бутов, и в голосе его звучала детская обида.—Я просто опасаюсь, что расследование может иметь кумулятивный эффект—если вы не найдете преступника, то он, убив своей телеграммой Коростылева, достигнет еще одного ужасного результата...

— А именно?

Он протянул ко мне руки, короткопалые беззащитные ласты тюлена, а на лице его была мука:

— Ведь школа—это большой коллектив, естественно, не обходится без разногласий, недоразумений, конфликтов. И, получив официальную огласку, смерть Коростылева станет поводом для ужасных расспросов, проверок, выяснений. Вражда и подозрения, сплетни и оговоры уничтожат все доброе... А школа наша была много лет гордостью района, одной из лучших в области...

— Вы не бойтесь огласки,—сказал я ему злобно.—Сейчас не об этом надо думать! Если вас послушать, надо сейчас нам всем выпить еще раз по рюмке за помин души Коростылева, завтра вывесить в актовом зале его портрет и позабыть о нем навсегда...

— Почему же позабыть?—неуверенно возмутился Бутов, но я не дал ему договорить:

— Потому что Коростылев часто повторял: поощрять зло безнаказанностью так же преступно, как творить его, ибо ненаказанное зло ощущает себя добродетелью... И моя задача состоит как раз в том, чтобы не дать испугу, возмущению и опасениям людей превратиться в злобный хаос всеобщего подозрения. Должен вас огорчить сообщением, что в здоровом организме вашей школы или каких-то связанных с ней отношений возник где-то гнойный нарыв и никакими примочками его не рассосать—его надо найти и вырезать...

— Я бы это только приветствовал,—смирно сказал Юша.—Боюсь, что вы неправильно оцениваете мои мотивы. Я, честное слово, не опасаюсь каких-то организационных последствий и выводов начальства. Я о коллективе думаю, об учащихся...

— Будем вместе думать,—твердо заверил его я.—В том русле, которое я вам предлагаю...

Очень расплывчатый абрис ситуации начал выплывать из мглы неизвестности—мне надо парализовать влияние завуча Екатерины Сергеевны. Благо, это не очень трудно, поскольку Бутов относился к той части людей, что охотно перекалывают ответственность на более горластого и напористого. Думаю, что завучу меня покамест не переборластит. Это у нее с Бутовым хорошо получалось. Его ведь не случайно друзья называют Юшей—огромный славный толстячок мальчонка в коротковатых брюках и тесном на животе пиджаке.

— Как фамилия Екатерины Сергеевны?

— Вихоть. Ее фамилия Вихоть. А что такое?—озадачился Бутов.

— Я хотел спросить вас, почему у нее были недоброжелательные отношения с Коростылевым,—сделал я «накидку».

— Что вы! Что вы! Помилуй бог! Как можно так говорить! Конечно, у них возникали разногласия, но разве можно назвать отношения Екатерины Сергеевны недоброжелательными? Она очень уважала Коростылева, уверяю вас!

— А он ее?

— Что?—испуганно посмотрел на меня сквозь круглые окошки Бутов.

— Николай Иванович уважал Вихоть? Дружил с ней? Считался?

— На такие вопросы трудно ответить однозначно... от-то... Жизнь ставит нас в сложные положения... Иногда возникают недопонимания... Вот видите, вам уже наговорили с три короба...

Ему и в голову не приходило, что я еще ни с кем словом не перемолвился. И не в хваленой следовательской интуиции дело. Просто я хорошо знал Кольяныча и легко мог представить, как на него действовало трибунное велеречие завуча. Она должна говорить так всегда—на поминках, на свадьбе, на педсовете. А кроме того, несколько минут назад я наблюдал прозрачное и в то же время непроницаемое отчуждение, возникшее вокруг Вихоть, когда она говорила поминальное слово.

— Так в каком положении возникло недопонимание между Коростылевым и Вихоть?—настырно сворачивал я Бутова на тернистый путь однозначных ответов.

— Они очень разные люди... На многое смотрели по-разному... И, конечно, надо считаться, от-то, что Вихоть—женщина, она была иногда мнительна, обидчива, ей казалось, что Николай Иванович чем-то подрывает ее авторитет... От-то... Хотя я с ней не соглашался...

— Конкретно. Поясните конкретным случаем.

— Как вам сказать, от-то... Они оба словесники, литературу и язык преподают, программа одинаковая... а подход, методика разные... Екатерина Сергеевна строже, требовательнее, и процент успеваемости у нее выше... Был случай, когда восьмой «А» потребовал, чтобы Вихоть заменили на Коростылева... Но я, хоть убейте меня, не могу взять в толк, какое отношение имеют ваши вопросы к этой проклятой телеграмме. Вы же, надеюсь, никак не связываете...

— Ни в какой мере не связываю. Но мне надо знать все...

Из дома вышла на крыльцо Галя, помахала мне рукой и сказала Бутову:

— Юшминальд Андреевич, вас зовет за стол Екатерина Сергеевна, она говорит, что неудобно, вам надо быть там...

Галя—молодец, уже со всеми знакома, со всеми есть отношения, она любит людей и уверена, что это взаимно.

Бутов с неожиданной легкостью встал, жадно затаившись пару раз, и поднявшись над ними клубы дыма ясно показали, что париход готов отчалить от пристани, только что наведенные тоненькие сходы разговора, слабые швартовы вопросов и ответов разорвутся и рухнут в воду молчания.

Он мечтал уйти от меня и неприятных вопросов, но решиться не мог, не получив моего разрешения, отпущения, успокоения.

— Нам надо будет договорить, Юшминальд Андреевич, я вас завтра навещу...—пообещал я.

— Хорошо, я буду ждать,—тяжело вздохнул Бутов и затапол по ступенькам.

— А ты?—спросила Галя.

— Я приду через час.—И направился к калитке.

Повернул ключ в замке зажигания, и «жигулиный» мотор услужливо и готово рокотнул, его металлическое четырехцилиндровое сердце рвалось в дорогу. Но я обманывал его: путь нам предстоял совсем недалеко. Полтора километра—до Дома связи. Я не хотел терять времени—фосфорические зеленатоволновые стрелки автомобильных часов показывали четыре, а красная секундная, светливая, тоненькозлая, спазматически рвалась по кругу циферблата, неостановимо стачивая с дня стрижку умчавшихся минут.

Выехал на асфальтовую дорожку, перешел на прямую передачу и покотил тихонько, почти бесшумно с косогора вниз к центру Рузаева. Много раз доводилось мне отсюда уезжать, уходить, и почти всегда мне было грустно—не хотелось расставаться с Кольянычем. А теперь переполняло меня чувство холодной целеустремленной ярости и злой тоски, потому что знал: ужоу навсегда. Еще сегодня и завтра, может быть, через неделю я вернусь сюда, но сейчас я уходил от Кольяныча навсегда, потому что, отправляясь на поиски его убийцы, я затапывал навсегом свой собственный след к этому дому, к своему прошлому, к самому себе.

Мрачная ненависть к убийце была сейчас во мне больше любви к Кольянычу, и от этого мне было трудно дышать, и я сам себе был противен.

Но свое дело я доведу до конца.

Неспешно плыла моя машинка по пологому спуску в субботне-беззаботный, отдыхающий городок. Густо-

зеленый, дымящийся клубами сирени и уже пахнущий подступающим летом — пылью, нагретым деревом, слабым бензиновым выхлопом. Из окон домов доносились шквалы криков и быстрый тенорок футбольного комментатора. Около пивной бочки толпилась компания любителей стоячего отдыха. На площадке перед кинотеатром плясали «барыню». Из дверей универмага вилась очередь — видимо, к концу квартала выкинули в продажу дефицит. Жизнь продолжалась нормально.

На стоянке в центре площади с трудом нашел место — грузовики и автобусы из окрестных деревень, легковушки, мотоциклы с колясками. Субботний выезд в райцентр.

А в мраморно-стеклянных палатах Дома связи было пусто. Ощущалось, что провинциальные амбиции строителей дома явно возносились в неоглядное будущее над реальными потребностями рузаевцев в средствах связи. За окошком с надписью «Междугородный телефон» сидела женщина с вязаньем в руках. Желтоватое лицо с крошечными бисеринками пота на висках. Я просунул голову в овальный вырез и увидел, что вязанье лежит на покато выпуклом своде живота. Судя по животу и недовязанным ползункам, телефонистке оставалось до декрета несколько дней.

— Здравствуйте, дорогая будущая мама, — улыбнулся я ей, стараясь изо всех сил ей понравиться — от ее доброхотности и проворства сегодняшней ночью зависело многое. — Я старший оперуполномоченный Московского уголовного розыска Тихонов...

И протянул ей удостоверение. Она положила его на стол, механически взяла ручку, с удивлением и интересом, внимательно прочитала его, и я остался доволен, что она не сделала в нем ручкой пометок и прочерков, как это делают на телеграфных бланках.

— Здравствуйте, товарищ майор, — сказала она, и в глазах ее загорелось любопытство.

— Как вас зовут?

— Аня, — подумала и добавила: — Аня Веретенникова. А что?

— Анечка, мне сегодня понадобится ваша помощь. Вы до каких дежурите?

— Сутки. До завтра, до девяти. А вам куда звонить?

— В Москву. И еще неведомо куда...

— Так в Москву можно из автомата позвонить! Опустили пятиалтынный и говорите себе на здоровье... — Она улыбнулась. — А есть ли автоматическая связь с «неведомо куда» — не знаю...

— Мне автомат не подходит — я буду звонить в Москву, а мне будут отзванивать сюда. Вы знали бывшего директора школы Коростылева?

— Да, — кивнула Аня, и лицо ее затуманилось. — Его у нас все знают. Он умер на днях... Я до восьмого класса у него училась... Хороший человек...

Мне не было никакого резона секретничать с Аней — все равно связь пойдет через нее, если захочет, то и так все услышит. Да и нечего мне утаивать. Тут и без меня темноты хватает.

— Анечка, к сожалению, Николай Иванович не просто умер, а то, что случилось с ним, скорее напоминает убийство. Вы слышали о телеграмме?

— Да, что-то слышала: телеграмма какая-то поддельная пришла. Шулякова, из отдела доставки, рассказывала...

— В том-то и дело, что телеграмма настоящая, только послал ее человек поддельный. По виду, наверное, обычный человек, а на самом деле — вурдалак...

— А чем я могу вам помочь?

— Сейчас я передам в Москву запрос, а потом мне будут звонить. Пока я не знаю, где я буду находиться, но я вам буду регулярно отзванивать и сообщать номер — где я есть, и вы меня будете соединять с Москвой. Сделаете?

— Конечно!

— Тогда начнем. Мне нужна дежурная часть Московского уголовного розыска.

Аня набиравла диск на коммутаторе, что-то говорила своей коллеге в Москве, и лицо у нее уже было не беременно-расслабленное, а сосредоточенное, даже чуть сердитое, а вязанье лежало далеко в стороне на приставном столике, и висевшая на шее телефонная гарнитура — наушники и микрофон — делала ее похожей на пилота, совершающего трудную посадку.

— Идите в первую кабину...

Открыл тяжелую, плотную дверь, вспыхнул свет в тесной деревянной капсуле, снял трубку с плоского аппарата без номеронабирателя и услышал знакомый глухой голос:

— Ответственный дежурный Коновалов слушает...

— Привет, Серега... Это Тихонов тебя достает...

— Что это тебе нейдет в субботу? Ты как в Рузаеве оказался?..

— На похороны приехал... Тут история произошла вполне противная, мне нужна твоя помощь...

Я объяснял ему историю с телеграммой, а Коновалов где-то далеко, за сотню верст, сосредоточенно пыхтел в трубку, не перебивал меня, вопросов праздных не задавал, но я знал, что он не просто внимательно слушает, а по укоровившейся за долгие годы привычке наверняка делает пометки на чистом

листе бумаги остро отточенным карандашом. «Самая лучшая память на бумажке накалякана», — любил он повторять нам, когда мы удивлялись, что он никогда и ничего не забывает.

— Понятно, — медленно сказал Коновалов. — А Коростылев этот сродственником тебе доводится?

— Ну, наверное, считай, что сродственник. Сроднились мы с ним за целую жизнь...

— Все ясно. — И я представил себе, как он отчеркнул жирной линией свои закорючки на листе и приготовился по пунктам записывать задание.

— Серега, надо срочно дозвониться в Мамоново, в городское управление, если понадобится — продублируй запрос в область, в Воронеж. Ты записал исходящие телеграммы? — на всякий случай переспросил я.

— Конечно...

— Пусть сегодня же опросят телеграфисток, всех, кто мог быть на почте во время подачи телеграммы, кто такой Пронин?..

— Пронина-то никакого нет — фамилия взята от фонаря, — перебил Коновалов.

— Не сомневаюсь. Но телеграмма необычная — его должны были запомнить, почтари его смогут довольно подробно описать. Затем надо взять на телеграфе исходящий журнал, посмотреть, кто отправлял сообщения перед Прониным и вслед за ним...

— И что? — раздумчиво спросил Коновалов. — Что дает?

— Мамоново — маленький городок, многие знают друг друга. Соседи Пронина в очереди могли запомнить какие-то важные детали. По ним можно будет легче его раскупорить. Понимаешь?

— Усек, — хмыкнул Коновалов. — Чувствую, что ты на воскресные дни мамоновским сыскарям подкинул работенку невнятную...

— Да, Серега, я это знаю. И тебя, друг, прошу: вломись в это дело, как ты умеешь. Я тебе не могу и не хочу ничего объяснять по телефону, но если этот гнусняк от нас улизнет, ставь на мне крест...

И вдруг совершенно неожиданно почувствовал, что по лицу у меня текут слезы и голос предательски сел, тугой ком заткнул глотку.

— Але, але, Стас, ты чего там? Але! — заорал в трубку Коновалов. — Ты что тараканишь? Але! Стас! Что с тобой? Может, кого из наших ребят к тебе подослать?

Я несколько раз глубоко вздохнул, с трудом отдышался и твердо сказал:

— Серега, со мной полный порядок. Никого присылать не надо, глупости это. Я здесь все сам делаю. Ты будешь держать связь с местной телефонисткой, ее зовут Аня Веретенникова, она меня легко разыщет... Договорились?

— Есть, все будет в норме...

Вышел из будки, из спертых духоты с надсадным запахом пыли и пота, и не мог несколько мгновений собраться с мыслями, отрешенно глядя на телефонистку, пока Аня не сказала мне мягко:

— Вы не волнуйтесь, я вас мигом соединю, как только позвонят...

— Спасибо, Аня, я вам буду регулярно звонить. Вот вместе с вами мы раскрутим эту историю...

— Ну, да, конечно, я ведь старый Шерлок Холмс, — усмехнулась Аня. — Да и вы на милиционера не похожи. Вы на артиста Филатова похожи, только ростом подлинней...

Я подумал, что она моложе меня лет на пятнадцать, но говорила она со мной не как молодая женщина, она не «ухаживалась», она говорила с ласковой снисходительностью матери, для которой все эти игры давно позади, хоть и симпатичны, но неинтересны — она вязала ползунки, и на лице ее желтели пятна будущих, иных, нестерпимо тяжелых и высоких забот.

— Аня, где у вас городская милиция?

— А вон, наискосок, через площадь дом двухэтажный, там вход с переулка.

— Анечка, я вам звоню через час...

С автостоянки постепенно разъезжались машины, урчали, готовясь в путь, автобусы, из-под брезентового фургона с надписью «Люди» разносились по площади развеселая гармошка, нестройное пение, ключья частушечных выкриков. Сумки, пакеты, авоськи с апельсинами.

Я пересек площадь и вошел в зеленый палисадник перед старым домом с красной стеклянной таблицей «Управление внутренних дел». На деревянном крыльчике сидел милиционер и строгал ножом чурку.

— Я бы хотел поговорить с Зацаренным, — сказал я, поздоровавшись.

— А он у себя сейчас. Шестая комната — пройдете мимо дежурной части, налево по коридору...

Продолжение следует.

Рисунки Михаила ВЕРХОЛАНЦЕВА

СМЕНА '87

300 000 новых подписчиков появилось у нашего журнала в этом году.

Теперь «Смену» выписывают более миллиона читателей.

По вашим многочисленным просьбам мы будем информировать о самых значительных публикациях ближайших номеров «Смены».

Как всегда ждем, дорогие друзья, ваших советов, предложений, пожеланий.

Итак, скоро в «Смене»:

Размышления перед съездом комсомола.

Что думают о социальной справедливости молодые рабочие из Иванова.



Образ Пушкина в исследованиях Николая Раевского.

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров: «Жизнь шире шахматной доски».



Научно-фантастический роман английского писателя Джона Уиндема «Отклонение от нормы».

Время в поэзии Бориса Олейника. В рубрике «Силуэты» — Юрий Нагибин о Сергее Аксакове. Биоритмы: правда без сенсаций.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ: подписка на «Смену» продолжается!



29-я шахматная олимпиада

Под редакцией
гроссмейстера
Виктора ЧЕПИЖНОГО

Как и в прошлые годы, конкурсные задания будут составлены только из миниатюр (композиций с числом не более семи), которые понятны всем.

Олимпиада проводится в 14 туров, каждый тур состоит из нескольких заданий. За выполнение отдельного задания в зависимости от степени его трудности участник соревнования получает от 1 до 5 баллов. Максимальная сумма баллов за решение всех заданий олимпиады — 100. В нашем соревновании установлены квалификационные нормы для выполнения и подтверждения шахматных разрядов: 32 балла для получения четвертого разряда, 52 балла — третьего, 92 балла — второго.

Участник олимпиады должен прислать ответы на задания первого тура только на открытках (без конверта!), где необходимо указать фамилию, имя и отчество, возраст, профессию, спортивный разряд по шахматам и адрес.

Пять участников, добившихся лучших результатов, объявляются победителями олимпиады и награждаются дипломами журнала «Смена» и призами. Участники, занявшие последние двадцать мест, будут награждены книгами по шахматам.

Задания сегодняшнего тура составлены В. Чепижным специально для олимпиады.

1 тур

1. Публикуется впервые

Белые: Кра4, Фh1, Сg2 (3)

Черные: Кра7, Сc7, п. а6 (3)

Мат в 2 хода (1 балл)

2. Публикуется впервые

Белые: Кра4, Ле7, пп. с5, с6 (4)

Черные: Кра6, Кg4, п. а7 (3)

Мат в 3 хода (2 балла)

Последний срок отправки писем (по почтовому штемпелю) — 1 марта.

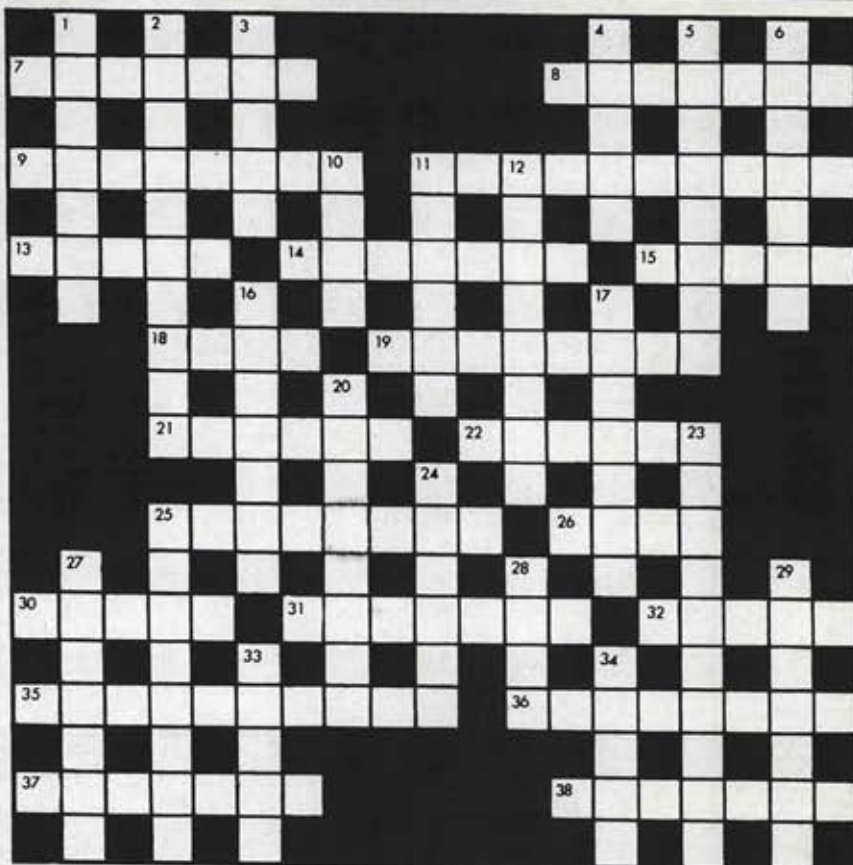
Конкурс составления задач-миниатюр

По многочисленным просьбам наших читателей, участников шахматных олимпиад журнал «Смена» объявляет конкурс составления задач-миниатюр (с числом фигур не более семи) по двум разделам: двухходовки и трехходовки. Для победителей конкурса установлены призы. Оригинальные (нигде ранее не публиковавшиеся) задачи, изображенные на диаграммах, в двух экземплярах каждая, с полным авторским решением, следует присылать по нашему адресу до 1 июня. Судья конкурса — международный арбитр В. Чепижный. На конверте необходимо делать пометку: «Конкурс составления миниатюр». Все присланные композиции примут участие в конкурсе, рецензии на задачи даваться не будут. Результаты конкурса журнал опубликует в 1988 году.



КРОССВОРД

Составила Г. ЗВОНКОВА, Москва



По горизонтали:

7. Крупная птица, устраивающая время от времени групповые пляски. 8. Спортсменка-школьница. 9. Работник магазина. 11. Британский трехмачтовый парусник, первым в 1876 году поднявший с океанского дна железомарганцевые конкреции. 13. Животные — фауна, растения — флора. 14. Капитан в приключенческом романе Т. Готье. 15. Самое распространенное из болотных растений. 18. «... мглою небо кроет, вихри снежные крутя» (А. С. Пушкин). 19. Жаропрочный сплав. 21. Город в Азии, где был изобретен меч. 20. Герой Александр Македонский разрубил гордиев узел. 22. Шотландский народный танец, ставший с XVII века балетом. 25. Бытовавшее в начале нынешнего века название деревянного самолета. 26. Река на юге Таймыра. 30. Жидкое серебро древности, которому алхимики пытались «вернуть» твердость. 31. Стилистический прием в стихотворении К. Симонова «Жди меня». 32. Венгерский композитор, написавший больше тридцати оперетт. 35. Советская киноактриса, сыгравшая роль Офелии в фильме «Гамлет». 36. Признак надвигающейся смерти в мире трав. 37. Овощ, который мы вспоминаем при слове «каротин». 38. Ученческое звание А. С. Пушкина.

По вертикали:

1. Ученик, заучивающий текст, не вникая в его смысл. 2. Пакистанский порт на реке Инд. 3. Плодовое дерево, олицетворяющее в Японии жизнерадостность. 4. Качающаяся вилка в часах. 5. «Ты моя радость, моя ...! Нет и не будет женщины счастливее меня» (Юлия — Дульчину в пьесе А. Н. Островского «Последняя жертва»). 6. Речная рыба, чешуя которой прилипает к рукам. 10. Вид искусства, требующий ловкости и мужества. 11. Присущее И. С. Баху произведение, которое исследователь его творчества Вольфрум назвал «гигантом, грозящим сломить нежное тело скрипки». 12. Береговушка, воронка, касатка (общее название). 16. Городской вид транспорта. 17. Систематическая помощь одного коллектива другому. 20. Растение-медонос, которое в народе называют смолкой. 23. Человек, начавший одомашнивать животных. 24. Древнее государство в Северном Причерноморье со столицей Неаполь. 25. Наука о прекрасном. 27. Особенности, нюанс, разновидность. 28. Город на юго-востоке Австрии. 29. Нимфа, семь лет продержавшая в плену Одиссея. 33. Стерня. 34. Народная поэтесса Литвы.

ОТВЕТЫ

НА КРОССВОРД
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 24

По горизонтали:

8. Энгурес. 10. Бражник. 11. Пассатижи. 12. Татами. 13. Хартия. 14. ...канонерка. 15. Агата. 18. Рдест. 21. Флеминг. 25. Паспарту. 26. ...дромедар. 27. Графика. 28. Горнило. 29. Нителла. 30. Врубель. 31. Щитовник. 32. Спиннинг. 33. Аральск. 37. Цапка. 40. Манеж. 43. Радужница. 44. ...иголка... 45. Замена. 46. Кантилена. 47. Омнибус. 48. Йорданс.

По вертикали:

1. Чеграва. 2. Персонал. 3. Малибран. 4. ...жанрист... 5. Юрмала. 6. Сфагнум. 7. Шабрие. 9. Слика. 10. Бихар. 16. Гипербола. 17. Термитник. 19. Диоптрика. 20. Сцепление. 21. Фуговка. 22. Елабуга. 23. Ивишень. 24. Гданьск. 34. Редингот. 35. Лыжняца. 36. Сличение. 37. Цыганка. 38. Палуба. 39. Аракс. 40. Мазай. 41. Номарх. 42. Жандарм.

Уважаемые читатели!

Мы получили много писем, в которых вы просите продолжать конкурс кроссвордистов. В этом году редакция предполагает провести два тура конкурса. Ждем ваших предложений по тематике конкурсных кроссвордов.

Условия первого тура конкурса будут опубликованы в № 4.

Победителей, как всегда, ждут награды журнала — почетные дипломы, книги.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!



СМЕНА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Основан в январе 1924 года.
Выходит два раза в месяц.

№ 1 (1431) январь 1987

Москва, издательство «Правда»

Главный редактор
Альберт ЛИХАНОВ.

Редколлегия:

Валерий ВИНОКУРОВ
Борис ДАНЮШЕВСКИЙ

(ответственный секретарь)

Владимир ДЕСЯТЕРИК
Михаил КИЗИЛОВ

(заместитель главного редактора)

Александр КУЛЕШОВ
Иосиф ОРДЖОНИКИДЗЕ
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Евгений РЯБЧИКОВ
Вадим САОШЕВ
Виталий СЕВАСТЬЯНОВ
Владислав СЕРИКОВ
Игорь СЕРКОВ

(заместитель главного редактора)

Олег ШЕСТИНСКИЙ

Главный художник
Сергей ВЕТРОВ

Художник
Геннадий КОРНЫШЕВ
Технический редактор
Александра ГУСЕВА

© Издательство «Правда».
«Смена», 1987 г.

✉ 101457, ГСП, Москва,
Бумажный проезд, 14.

☎ 212-15-07.

*Рукописи, фото и рисунки
не возвращаются.
Рукописи объемом
более одного авторского листа
(24 машинописные страницы)
редакцией не рассматриваются.*

Сдано в набор 19.11.86.
Подписано к печати 02.12.86.
А 02069. Формат 70×108¹/₈.
Глубокая печать. Усл. печ. л. 5,60.
Уч.-изд. л. 11,55. Усл. кр.-отт. 17,50.
Тираж 1300 000 экз.
Изд. № 52. Заказ № 4096.
Ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137,
улица «Правды», 24.

РУСИКО ПЕТВИАШВИЛИ



20/II 82 Г 20 თებერვალი 1982 წელი 14 წელი
რუსიკო პეტვიაშვილი

Иллюстрация к поэме «Витязь в тигровой шкуре».

Окончание. Начало на 24-й стр.

люстрировали лучшие грузинские художники — от неизвестного автора миниатюр XVI века до Сергея Кабуладзе, Ладо Гудиашвили, Ираклия Тоидзе и Учи Джапаридзе.) Но вот соперничество с «Витязем...» юной художницы. Выдержит ли подобное испытание Русико? Не будем торопиться с ответом. Заметим только, что ее благословил, увидев ее первые работы, сам Ладо Гудиашвили.

Я знал, что отец Русико — интересный скульптор, тяготеющий к исторической теме, и, увидев теперь его работы в доме, который стал мастерской и для дочки, пытался почувствовать родство в творчестве дочери и отца.

— В детстве она любила слушать сказки о девах, богатырях, о красавицах фейх. Я старался привить ей любовь к нашим грузинским мифам. Иногда я что-то фантазировал сам, из жизни...

— И сопровождали свои фантазии песней, танцем?

— Кто вам сказал?

— Грузины все поют, танцуют...

— Еще как, — с улыбкой посмотрев на отца, вступила в наш разговор Русико. — Папа любит петь, да у нас в семье все поют: и мама Манана — она филолог, и дедушка Спиридон — он киноактер...

Русико рано научилась рисовать — с двух лет цветные карандаши, фломастеры и чистый лист бумаги стали ее любимыми игрушками, она не променяла бы их на самую лучшую в мире куклу. Рождая в воображении образы из грузинских мифов и сказок, Русико пыталась перенести их на бумагу. Линия ее рисунка, как это часто бывает у детей, свободная и искренняя, не прерывалась. Это свойство Русико каким-то чудом сохранила в себе как характерную черту своего творчества. С годами эта линия становилась увереннее, свободнее, изящнее, пластичнее и достигала певучей нежности. «Старайся рисовать одной линией, без «соломы», но так, чтобы передать форму», — учил ее отец. Дочь оказалась прилежной ученицей.

Позже я узнал, что Русико успешно окончила музыкальную школу по классу фортепиано, и только неиз-

менная страсть к рисованию разрешила спор родителей о том, куда направить усилия девочки: то ли в музыку, где, по словам педагогов, она очень одарена, то ли по стопам мамы — в литературу, филологию, то ли в живопись.

— Музыка мне помогает вести линию, видеть образ и даже цвет, — признается Русико. — Я ведь делаю к «Витязю...» цветные иллюстрации. И потом, знаете, поэму Руставели можно петь, она очень музыкальна.

*Друг пусть другу верно служит,
не щадя себя ни в чем;
Должно сердцу быть для сердца
и дорогой, и мостом.*

Мир «Витязя в тигровой шкуре» населяют влюбленные, они, как считает Русико, вечные друзья: и жертвенный Автандил со своей возлюбленной Тинатин, и страдающий по своей любимой отважный витязь Таризель, и преданная ему царица Нестан, и верная наставница и служанка их Аснат.

— Может, это и помогает работать тебе с большим чувством, — размыш-

лял вслух папа Вахтанг. — Все-таки они твои друзья, Русико? Ты должна хорошо их знать, ведь столько лет в дружбе...

— Вот именно поэтому мне так трудно рисовать, — возразила Русико, — но зато и очень интересно.

Я спрашивал у родителей Русико: нет ли риска для их дочери, самобытной, с ярким, индивидуальным, ни на кого не похожим почерком, проходить учебу в академии?

— Она сама приняла решение, — сказал отец. — Но я думаю, что на ее мир академия не повлияет, а мастерства может прибавить.

Мир Русико... Пытаюсь отыскать его истоки, я ходил по улицам старого Тбилиси. И понял, что древние платаны цвета платины и незнакомые мне птицы в их могучих кронах — в звонком щебете я почему-то улавливал мелодию грузинского языка — все это было из мира Русико. В лицах грузинок, по-восточному волооких, угадывались черты гордых и магически притягательных фей Русико, равно как в юношах — черты грузинских витязей с ее графических листов...